

И Л Ъ Я Е В Г Е Н И Й
ИЛЬФ ♣ ПЕТРОВ

!!!ВПЕРВЫЕ!!!
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ РОМАНА
БЕЗ ИЗЪЯТИЙ И КУПЮР

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПРОФЕССОРОВ
РГГУ
МИХАИЛА
ОДЕССКОГО
И ДАВИДА
ФЕЛЬДМАНА

Лед тронулся,
господа присяжные заседатели!

Миры Ильфа и Петрова

Илья Ильф

Золотой теленок

«АСТ»

1931

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ильф И.

Золотой теленок / И. Ильф — «АСТ», 1931 — (Миры
Ильфа и Петрова)

ISBN 978-5-17-098229-5

«Человечество чего-то боится. Боится, что благополучие может кончиться. Зарывает в землю пластинки, чтобы напомнить, что цивилизация была». Эти любопытные слова читатель не найдет в романе: они туда не вошли. Фразы о человечестве и цивилизации взяты из дополнительных материалов к роману «Золотой теленок», хранящихся в архиве. Удивительное наблюдение и даже отчасти предсказание. Ему вроде как и не место в сатирическом романе (а ведь могло бы войти!). Но кто сказал, что «Золотой теленок» — чисто сатирический роман? Эта книга гораздо глубже, чем кажется «с поверхности». Она именно о цивилизации. Или — пусть немного пафосно — о судьбе цивилизации. О власти денег. О власти государства. О власти идеологии. О соблазне наживы — того самого золотого тельца. О страхе перед завтрашним днем... О всем том, что действительно угрожает цивилизации. Да, «человечество чего-то боится». Оно боится будущего. Как бояться его — каждый по-своему — чуть ли не все герои романа... Виталий Бабенко, составитель Роман «Золотой теленок» публикуется в том виде, в котором его создали соавторы Илья Ильф и Евгений Петров. Подробное послесловие к роману написано опытными текстологами, профессорами РГГУ Михаилом Одесским и Давидом Фельдманом. Издание дополнено рисунками Ильфа и Петрова.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-098229-5

© Ильф И., 1931

© АСТ, 1931

Содержание

От составителя. Форма одежды караульная	7
От авторов	9
Часть первая. Экипаж Антилопы	10
Глава первая. О том, как Паниковский нарушил конвенцию	10
Глава вторая. Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта	17
Глава третья. Бензин ваш – идеи наши	25
Глава четвертая. Обыкновенный чемоданишко	32
Глава пятая. Подземное царство	37
Глава шестая. Антилопа-гну	41
Глава седьмая. Сладкое бремя славы	48
Глава восьмая. Кризис жанра	54
Глава девятая. Снова кризис жанра	61
Часть вторая. Два комбинатора	68
Глава десятая. Телеграмма от братьев Карамазовых	68
Глава одиннадцатая. Геркулесовцы	71
Глава двенадцатая. Теплая компания: Гомер, Мильтон и Паниковский	76
Глава тринадцатая. Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции	82
Глава четырнадцатая. Первое свидание	91
Глава пятнадцатая. Рога и копыта	97
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Илья Ильф, Евгений Петров

Золотой теленок

© Одесский М.П., Фельдман Д.М., послесловие, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

От составителя. Форма одежды караульная

Казалось бы, если речь идет о данной книге, то составлять особенно нечего. Есть роман «Золотой теленок», есть первый вариант финала романа (глава тридцать четвертая «Адам сказал, что так нужно»), есть первая часть романа «Великий комбинатор», есть послесловие «История легенды: роман “Золотой теленок” в литературно-политическом контексте эпохи». Плюс рисунки, которые авторы – Илья Ильф и Евгений Петров – щедро разбрасывали по листам рукописей.

Чего же проще? Соединить все эти части, и книга – по сути, сборник – готова.

Конечно, с одной стороны, все эти части нужно было найти и подготовить к печати, а послесловие – написать, и это огромная работа, о чем будет сказано чуть дальше. А с другой стороны, как выразился бы один из персонажей романа – «тучный писатель в мягкой детской курточке»: раз есть составные части, то должен же кто-нибудь их составлять. Вот в роли этого «кого-нибудь» и выступает составитель.

«Человечество чего-то боится. Боится, что благополучие может кончиться. Зарывает в землю пластинки, чтобы напомнить, что цивилизация была».

Эти любопытные слова читатель не найдет в романе: они туда не вошли. Фразы о человечестве и цивилизации взяты из дополнительных материалов к роману «Золотой теленок», хранящихся в архиве.

Удивительное наблюдение и даже отчасти предсказание. Ему вроде как и не место в сатирическом романе (а ведь могло бы войти!). Но кто сказал, что «Золотой теленок» – чисто сатирический роман? Эта книга гораздо глубже, чем кажется «с поверхности». Она именно о цивилизации. Или – пусть немного пафосно – о судьбе цивилизации. О власти денег. О власти государства. О власти идеологии. О соблазне наживы – того самого золотого тельца. О страхе перед завтрашним днем... О всем том, что действительно угрожает цивилизации. Да, «человечество чего-то боится». Оно боится будущего. Как бояться его – каждый по-своему – чуть ли не все герои романа...

Это короткое предисловие названо «Форма одежды караульная». Слова взяты из романа, – они принадлежат Остапу Бендеру. Что такое «караульная форма одежды» – и была ли когда-нибудь такая? – объяснено в чрезвычайно подробном послесловии к роману, написанном опытными текстологами, профессорами РГГУ М. П. Одесским и Д. М. Фельдманом, – послесловии, где исследованы как история создания романа, так и его публикационная судьба.

Ученые провели колоссальную работу по восстановлению изначального вида романа, после чего текст «Золотого теленка» стал действительно ПОЛНЫМ.

Вот как – в самом сжатом виде – М. П. Одесский и Д. М. Фельдман описывают эдизонные принципы, которыми они руководствовались при подготовке текста романа к публикации: «Для предлагаемого издания за основу взята рукопись романа “Золотой теленок” (РГАЛИ. Ф. 1821. Оп. 1. Ед. хр. 36–38). Этот вариант романа сверен с публикациями. В ряде случаев учтена чисто стилистическая правка авторов. Полностью игнорируются сокращения и правка идеологического характера. Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствие с нормами современного русского языка».

Но причем же здесь «караульная форма»? А вот причем. Слово «караул», заимствованное в древнерусскую эпоху из тюркских языков и означающее «стража», произведено от тюркского «кара-» – «смотреть, беречь».

«Смотреть и беречь!» Эти слова можно считать девизом профессиональных текстологов и профессиональных редакторов.

Текстологи внимательнейшим образом *рассматривают* рукопись произведения, сличают ее с последующими публикациями, освобождают от всего лишнего, внесенного в текст советскими, идеологически выдержанными редакторами и бдительными советскими же цензорами, восстанавливают все то, что эти редакторы и цензоры убрали из текста, и таким образом *сберегают* роман.

Редактор тоже внимательно *рассматривает* текст, досконально выверяет его и таким образом опять же *сберегает* произведение.

Именно поэтому «форма одежды», в которой роман предлагается современному читателю, – караульная.

Остается добавить несколько слов об орфографии и пунктуации. Почему они лишь в «основном», а не полностью приведены в соответствие с нормами современного русского языка? На то есть как минимум две причины. Первая: нормы орфографии и пунктуации во время создания романа, отделенное от нашего почти 90 годами, несколько отличались от нынешних, и исправить все «как надо» – значило бы лишить роман духа времени. Вторая: порой соавторы – И. Ильф и Е. Петров – сознательно шли на нарушения орфографии и пунктуации, руководствуясь не «нормами», а своими художественными принципами. Игнорирование этого означало бы обеднение романа.

Все фрагменты, обороты, отдельные слова, искаженные впоследствии либо же убранные боязливymi редакторами и воинствующими цензорами, восстановлены в этой публикации в полной мере и выделены полужирным шрифтом. То же относится и к знакам препинания.

Теперь составителю впору смолкнуть. Впереди – роман «Золотой теленок» в том виде, в котором его написали соавторы. Командовать парадом будут Илья Ильф и Евгений Петров.

В. Т. Бабенко

Переходя улицу, оглянись по сторонам (правило уличного движения)

От авторов

Обычно по поводу нашего обобщественного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросами вполне законными, но весьма однообразными: «Как это вы пишете вдвоем?»

Сначала мы отвечали подробно, вдавались в детали, рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу: убить ли героя романа «12 стульев» Остапа Бендера или оставить в живых? Не забывали упомянуть о том, что участь героя решилась жребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынул череп – и через полчаса великого комбинатора не стало, **он** был прирезан бритвой.

Потом мы стали отвечать менее подробно. О ссоре уже не рассказывали. Еще потом перестали вдаваться в детали. И, наконец, отвечали совсем уже без воодушевления:

– Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры! Эдмонд бежит по редакциям, а Жюль стережет рукопись, **чтоб** не украли знакомые.

И вдруг единообразие вопросов было нарушено.

– Скажите, – спросил нас некий строгий гражданин, из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, – скажите, почему вы пишете **смешное**? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?

После этого он **долго** убеждал нас в том, что сейчас смех вреден.

– Смеяться грешно! – говорил он. – Да, смеяться нельзя. И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь **и** эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!

– Но ведь мы не просто смеемся, – возражали мы. – Наша цель – **сатира**, сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода.

– Сатира не может быть смешной, – сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустика-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру.

Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием: «А паразиты никогда!»

Все рассказанное – не **выдумки**. Выдумать можно было бы и посмешнее.

Дайте такому гражданину-аллилуйщику волю, и он даже на мужчин наденет паранджу, а сам с утра **до вечера** будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма.

И все время, **пока** мы сочиняли «Золотого теленка», над нами реял лик строгого гражданина.

– А вдруг эта глава выйдет смешной? Что скажет строгий гражданин?

И в конце концов мы постановили:

а) роман написать по возможности веселый,

б) буде строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, – просить прокурора республики **т. Крыленко** привлечь **упомянутого** гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом.

И. Ильф, Е. Петров

Часть первая. Экипаж Антилопы

Глава первая. О том, как Паниковский нарушил конвенцию

Пешеходов надо любить.

Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того – лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить **114** вкусных питательных блюд.

И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.

Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен **пешеходом**. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов.

В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить **улицы** только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.

В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей.

Если пешеходу иной раз удастся выпорхнуть из-под серебряного носа машины **живым**, – его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.

И вообще авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Они, давшие миру таких замечательных людей, как Гораций, **Бойль-Мариотт**, Лобачевский и Гутенберг, **они, выделившие из своей среды таких завзятых пешеходов, как Пушкин, Вольтер, Мейерхольд** и Анатоль Франс, – принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, чтобы только напомнить о своем существовании. Боже, боже, которого, в сущности, **нет!** До чего ты, которого на самом деле-то и нет, довел пешехода!

Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту, держа в одной руке знамя с надписью: «Перестроим быт текстильщиков» и перекинув через плечо палку, на конце которой болтаются резервные сандалии «Дядя Ваня» и жестяной чайник без крышки. Это советский пешеход-физкультурник, который вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы будет задавлен тяжелым автокаром, номер которого так и не успеют заметить.

Или другой, европейский могиқан пешеходного движения. Он идет пешком вокруг света, катя перед собой бочку. Он **пошел бы просто** так, без бочки, но тогда никто не заметит, что он действительно пешеход дальнего следования, и про него **ничего** не напишут в газетах. Приходится всю жизнь толкать перед собой проклятую тару, на которой к тому же

(позор, позор!) выведена большая желтая надпись, восхваляющая непревзойденные качества автомобильного масла «Грезы шофера».

Так деградировал пешеход.

И только в маленьких русских городах пешехода еще уважают и любят. Там он еще является хозяином улиц, беззаботно бродит по мостовой и пересекает ее самым замысловатым образом в любом направлении.

Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, несомненно принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбатова пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке.

Он увидел десятка полтора голубых, резедовых и бело-розовых звонниц; бросилось ему в глаза облезлое **кавказское** золото церковных куполов. Флаг **клубничного цвета** трещал над официальным зданием. У белых башенных ворот провинциального кремля две суровые старухи разговаривали по-французски, жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей. Из церковного подвала несло холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель.

– Храм **Спаса** на картошке, – негромко сказал пешеход.

Пройдя под фанерной аркой со свежим известковым лозунгом: «Привет 5^й окружной конференции женщин и девушек», он очутился у начала длинной аллеи, именовавшейся Бульваром Молодых Дарований.

– Нет, – сказал он с огорчением, – это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже.

Почти на всех скамьях Бульвара Молодых Дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Дырявые тени падали на страницы книг, на голые локти, на трогательные челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло заметное движение. Девушки, прикрывшись книгами Гладкова, Элизы Ожешко и Сейфуллиной, бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома – цели своей прогулки.

В эту минуту из-за угла выехал извозчик. Рядом с ним, держась за пыльное **обугленное** крыло экипажа и размахивая вздутой папкой с тисненой надписью «Musique», быстро шел человек в длиннополой толстовке. Он что-то горячо доказывал седоку. Седок – пожилой мужчина с висячим, как банан, носом – сжимал ногами чемодан и время от времени показывал своему собеседнику кукиш. В пылу спора его инженерская фуражка, околыш которой сверкал зеленым диванным плюшем, покосилась набок. Обе тяжущиеся стороны часто и особенно громко произносили слово «оклад».

Вскоре стали слышны и прочие слова.

– Вы за это ответите, товарищ Талмудовский! – крикнул длиннополый, отводя от своего лица инженерский кукиш.

– А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист! – **отвечал** Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию.

– Вы опять про оклад **жалования**! Придется поставить вопрос о рвачестве.

– Плевал я на оклад! Я даром буду работать! – кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. – Захочу – и вообще уйду на пенсию. Вы это крепостное право бросьте! Сами всюду пишут «Свобода, равенство и братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.

Тут Талмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам:

– Квартира – свинюшник, театра нет, оклад... Извозчик! Пошел на вокзал!

– **Тпру-у!** – Завизжал длиннополый, суетливо забегая вперед и хватая лошадь под узды. – Я, как секретарь секции инженеров и техников... Кондрат Иванович! Ведь завод

остается без специалистов!.. Побойтесь бога!.. Общественность этого не допустит, инженер Талмудовский!.. У меня в портфеле **протоколы...**

И секретарь секции, расставив ноги, стал живо развязывать тесемки своей «Musique».

Эта неосторожность решила спор. Увидев, что путь свободен, Талмудовский поднялся на ноги и что есть силы закричал:

– Пошел на вокзал!

– Куда? Куда? – залепетал секретарь, устремляясь за экипажем. – **Вы** дезертир трудового фронта!..

Из папки «Musique» вылетели листки папиросной бумаги с какими-то лиловыми «слушали-постановили».

Приезжий, с интересом наблюдавший инцидент, постоял с минуту на опустевшей площади и убежденным тоном сказал:

– Нет, это не Рио-де-Жанейро!

Через минуту он уже стучался в дверь кабинета predisполкома.

– Вам кого? – спросил его секретарь, сидевший за столом, рядом с дверью. – Зачем вам к председателю? По какому делу?

Как видно, посетитель тонко знал систему обращения с секретарями правительственных, хозяйственных и общественных организаций. Он не стал **заявлять**, что прибыл по срочному, казенному делу.

– По личному, – сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в дверную щель. – К вам можно?

И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу.

– Здравствуйте, вы меня **узнаете?**

Председатель, черноглазый большеголовый человек в синем пиджаке **и таких** же брюках, заправленных в сапоги на высоких **скороходовских** каблучках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает.

– Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца.

– Я тоже похож на своего отца, – нетерпеливо сказал председатель, – **вам** чего, товарищ?

– Тут все дело в том, какой отец, – грустно заметил посетитель. – Я сын лейтенанта Шмидта.

Председатель смутился и **приподнялся**. Он живо вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным **усатым** лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками. Пока он собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского героя приличествующий случаю вопрос, посетитель присматривался к мебелировке кабинета взглядом разборчивого покупателя.

Когда-то, в царские времена, мебелировка присутственных мест производилась по трафарету. Выращена была особая порода казенной мебели: плоские, уходящие под потолок шкафы, деревянные диваны с трехдюймовыми полированными сиденьями, столы на **бильярдных** ногах и дубовые парапеты, отделявшие присутствие от внешнего беспокойного мира. За время революции эта порода мебели почти исчезла, и секрет ее выработки был утерян. Люди забыли, как нужно обставлять помещения должностных лиц, и в служебных кабинетах **появились** предметы, считавшиеся до сих пор неотъемлемой принадлежностью частной квартиры. В учреждениях появились пружинные адвокатские диваны с зеркальной полочкой для семи фарфоровых слонов, которые якобы приносят счастье, горки для посуды, этажерочки, **специальные** кожаные кресла для ревматиков и голубые японские вазы. В кабинете председателя арбатовского исполкома, кроме обычного письменного стола, прижились

два пуфика, обитых полопавшимся розовым шелком, полосатая козетка, атласный экран с Фудзиямой и вишней в цвету и зеркальный славянский шкаф грубой рыночной работы.

«А шкафчик-то типа “Гей, славяне!”», – подумал посетитель, – тут много не возьмешь. Нет, это не Рио-де-Жанейро».

– Очень хорошо, что вы зашли, – сказал наконец председатель. – Вы, вероятно, из Москвы?

– Да, проездом, – ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеждаясь, что финансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обставленные новой шведской мебелью Ленинградского древтреста.

Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбат, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал:

– Церкви у нас замечательные. Тут уже из Главнауки приезжали, собираются реставрировать. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце «Очаков»?

– Смутно, смутно, – ответил посетитель. – В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя.

– Простите, а как ваше имя?

– Николай... Николай Шмидт.

– А... по батюшке?

«Ах, как нехорошо», – подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца.

– Да-а, – протянул он, уклоняясь от прямого ответа, – теперь многие не знают имен героев. Угар **НЭПа**. Нет того энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался без копейки...

Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным то, что он забыл имя очаковского героя.

«Действительно, – думал он, с любовью глядя на воодушевленное лицо **гостя**, – глоснешь тут за работой. Великие вехи забываешь».

– Как вы говорите? Без копейки? Это интересно.

– Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу, – сказал посетитель, – мне всякий даст, но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения... Сын революционера и вдруг просит денег у частника, у нэпмана...

Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. Председатель тревожно прислушался к новым интонациям в голосе посетителя. «А вдруг припадочный? – подумал он. – Хлопот с ним не оберешься».

– И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику, – сказал вконец запутавшийся председатель.

Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил пятьдесят рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка».

Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного, серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот и заградительный возглас секретаря. Дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель.

– Кто здесь главный? – спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми **глазами**.

– Ну, я, – сказал председатель.

– Здоров, председатель! – гаркнул новоприбывший, протягивая лопатообразную ладонь. – Будем знакомы! Сын лейтенанта Шмидта.

– Кто? – спросил глава города, тараща глаза.

– Сын великого, незабвенного героя лейтенанта Шмидта! – повторил пришелец.

– А вот же товарищ сидит – сын товарища Шмидта. Николай Шмидт.

И председатель в полном расстройстве указал на первого посетителя, лицо которого внезапно приобрело сонное выражение.

В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. В руках скромного и доверчивого председателя исполкома в любой момент мог блеснуть длинный неприятный меч Немезиды. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. В глазах второго сына лейтенанта Шмидта отразился ужас.

Его фигура в летней рубашке «Парагвай», **штанах с матросским клапаном** и голубоватых парусиновых туфлях, еще минуту назад резкая и угловатая, стала расплываться, потеряла свои грозные контуры и уже решительно не внушала никакого уважения. На лице председателя появилась скверная улыбка. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение.

– Вася! – закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. – Родной братик! Узнаешь брата Колю?

И первый сын заключил второго сына в объятия.

– Узнаю! – воскликнул прозревший Вася. – Узнаю брата Колю!

Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын черноморского революционера вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно.

Обнимаясь, оба брата искоса поглядывали на председателя, с лица которого не сходило **укусное** выражение. Ввиду этого спасительную комбинацию тут же на месте пришлось развить, пополнить бытовыми деталями и новыми, ускользнувшими от Истпарта, подробностями восстания моряков в 1905 году. Держась за руки, братья опустили на козетку и, не спуская лстивых глаз с председателя, погрузились в воспоминания.

– До чего удивительная встреча! – фальшиво воскликнул первый сын, взглядом приглашая председателя примкнуть к семейному торжеству.

– Да, – сказал председатель замороженным голосом. – **Бывает.**

Увидев, что председатель все еще находится в лапах сомнения, первый сын погладил брата по рыжим, как у сеттера, кудрям и ласково спросил:

– Когда же ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки?

– Да, я **там** жил, – пробормотал второй сын лейтенанта, – у нее.

– Что **ж** ты мне так редко писал? Я очень беспокоился.

– Занят был, – угрюмо ответил рыжеволосый.

И, опасаясь, что неугомонный брат сейчас же заинтересуется, чем он был занят (а занят он был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республик и областей), – второй сын лейтенанта Шмидта вырвал инициативу и сам задал вопрос.

– А ты почему не писал?

– Я писал, – неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости. – Заказные письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть. – И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек. **Но** показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали.

Как ни странно, но вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры «Мятеж на «Очакове»». Брат украшал его сухое изложение деталями настолько живописными, что председатель, начинавший было уже успокаиваться, снова наострил уши.

Однако он отпустил братьев с миром, и они выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение.

За углом исполкомовского дома они остановились.

– Кстати, о детстве, – сказал первый сын, – в детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки.

– Почему? – радостно спросил второй сын знаменитого отца.

– Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, – жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один?

– Я думал...

– Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы – мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий?

Рыжеволосый молчал, подавленный справедливым обвинением.

– Ну, я вас прощаю. Живите. А теперь давайте познакомимся. Как-никак – мы братья, а родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Разрешите также узнать вашу первую фамилию.

– Балаганов, – представился рыжеволосый, – Шура Балаганов.

– О профессии не спрашиваю, – учтиво сказал Бендер, – но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?

– Две, – свободно ответил Балаганов.

– Вот это нехорошо. Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно, – мама, наверно, познакомила вас в детстве с такой доктриной, – это к тому же бесцельная трата сил и энергии.

Остап долго еще развивал бы свои взгляды на жизнь, если бы его не перебил Балаганов.

– Смотрите, – сказал он, указывая на зеленые глубины Бульвара Молодых Дарований. – Видите, вон идет человек в соломенной **шляпке**.

– Вижу, – высокомерно сказал Остап. – Ну и что же? Это губернатор острова Борнео?

– Это Паниковский, – сказал Шура, – **сын** лейтенанта Шмидта.

По аллее, в тени августейших лип, **склонясь** немного набок, двигался немолодой уже гражданин. Твердая соломенная шляпа с рубчатыми краями боком сидела на его голове. Брюки были настолько коротки, что обнажали белые завязки кальсон. Под усами гражданина, подобно огоньку папиросы, пылал золотой зуб.

– Как, еще один сын? – сказал Остап. – Это становится забавным.

Паниковский подошел к зданию исполкома, задумчиво описал у входа восьмерку, взялся за поля шляпы **обоими** руками и правильно установил ее на голове, обдернул пиджак и, тяжело вздохнув, двинулся внутрь.

– У лейтенанта было три сына, – заметил Бендер, – два умных, а третий – дурак. Его нужно предостеречь.

– Не надо, – сказал Балаганов, – пусть знает в другой раз, как нарушать конвенцию.

– Что это **еще** за конвенция такая?

– Подождите. **Потом** скажу. Вошел, вошел!..

– Я человек завистливый, – сознался Бендер, – но тут завидовать нечему. Вы никогда не видели боя быков? Пойдем, посмотрим.

Сдружившиеся дети **лейтенанта** вышли из-за угла и подступили к окну председательского кабинета.

За туманным, невытым стеклом сидел председатель. Он быстро писал. Как у всех пишущих, лицо у него было скорбное. Вдруг он поднял голову. Дверь распахнулась, и в комнату проник Паниковский. Прижимая шляпу к салюному пиджаку, он остановился **перед столом** и долго шевелил толстыми губами. После этого председатель подскочил на стуле и широко раскрыл рот. Друзья услышали протяжный крик.

Со словами «**Все** назад!» Остап увлек за собою Балаганова. Они побежали на бульвар и спрятались за деревом.

– Снимите шляпы, – сказал Остап, – обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела.

Он не ошибся. Не успели еще замолкнуть раскаты и переливы председательского голоса, как в портале исполкома показались два дюжих сотрудника. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой за ноги.

– Прах покойного, – комментировал Остап, – был вынесен на руках близкими и друзьями.

Сотрудники вытащили третье глупое дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее небо.

– После непродолжительной гражданской панихиды... – начал Остап.

В ту же самую минуту сотрудники, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.

– ... Тело было предано земле, – закончил Бендер.

Паниковский шлепнулся на землю, как жаба. Он быстро поднялся и, кренясь набок сильнее прежнего, побежал по Бульвару Молодых Дарований с невероятной быстротой.

– Ну, теперь расскажите, – промолвил Остап, – каким образом этот гад нарушил конвенцию и какая это была конвенция.

Глава вторая. Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта

Хлопотливо проведенное утро закончилось.

Бендер и Балаганов, не сговариваясь, быстро пошли в сторону от исполкома. По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбацкой брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета. В бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки с надписями: «Закрывается на обед», «Обеденный перерыв от 2 до 3 ч. д.», «Закрывается на обеденный перерыв», просто «Закрывается», «Магазин закрыт» и, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами: «Закрывается для переучета товаров». По-видимому, эти решительные тексты пользовались в городе Арбатове наибольшим спросом. На все прочие явления жизни мастерская штемпелей и печатей отзывалась только одной **сухой** табличкой: «Дежурная няня». Затем, один за другим, расположились подряд три магазина духовых инструментов, мандолин и басовых балалаек. Медные трубы, развратно сверкая, возлежали на витринных ступеньках, обтянутых красным коленкором. Особенно хорош был бас-геликон. Он был так могуч, так лениво грелся на солнце, свернувшись в кольцо, что его следовало бы содержать не в витрине, а в столичном зоопарке, где-нибудь между слоном и удавом. И чтобы в дни отдыха родители водили **бы** к нему детей и **говорили**: «Вот, деточка, павильон геликона. Геликон сейчас спит. А когда проснется, то обязательно станет трубить». И чтобы дети смотрели на удивительную трубу большими **чайными** глазами.

В другое время Остап Бендер обратил бы **внимание** и на свежесрубленные, величиной с избу, балалайки, и на свернувшиеся от солнечного жара граммофонные пластинки, и на пионерские барабаны, которые своей молодцеватой раскраской наводили на мысль о том, что пуля дура, а штык молодец; но сейчас ему было не до того. Он хотел есть.

– Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти? – спросил он Балаганова.

– Это вы насчет денег? – сказал Шура **Балаганов**. – Денег у меня нет уже целую неделю.

– В таком случае вы плохо кончите, молодой человек, – наставительно сказал Остап. – Финансовая пропасть – самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь. Ну, ладно, не горюйте, **я** все-таки унес в своем клюве три талона на обед. Председатель исполкома полюбил меня с первого взгляда.

Но молочным братьям не удалось воспользоваться добротой главы города. На дверях столовой «Бывший друг желудка» висел большой замок, покрытый не то ржавчиной, не то гречневой кашей.

– Конечно, – с горечью сказал Остап, – по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда! Придется отдать свое тело на растерзание частникам.

– Частники любят наличные деньги, – возразил Балаганов глухо.

– Ну, ну, не буду вас мучить. Председатель осыпал меня золотым дождем на сумму в восемь рублей. Но имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас **ряд** мелких услуг.

Однако частновладельческого сектора в городе не оказалось, и братья пообедали в летнем кооперативном саду «**Искра**», где особые плакаты извещали граждан о последнем арбатском нововведении в области народного питания:



Пиво отпускается только членам профсоюза.

– Удовлетворимся квасом, – сказал Балаганов.

– Тем более, – добавил Остап, – что местные квасы **изготавливаются** артелью частных, сочувствующих советской власти. А теперь расскажите, в чем провинился головорез Паниковский. Я люблю рассказы о мелких жульничествах.

Насытившийся Балаганов благодарно взглянул на своего спасителя и начал **свой** рассказ. Рассказ длился часа два и заключал в себе чрезвычайно интересные сведения.

Во всех областях человеческой деятельности предложение труда и спрос на него регулируются специальными органами.

Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит, что ему нечего опасаться конкуренции и что на его амплуа холодного любовника или «кушать подано» нет других претендентов. Железнодорожников опекают родные им учкпрофсожи, заботливо публикующие в газетах сообщения о том, что безработные багажные раздатчики не могут рассчитывать на получение работы в пределах Сызрано-Вяземской дороги, или о том, что Средне-Азиатская дорога испытывает нужду в четырех барьерных сторожках. Эксперт-товаровед помещает объявление в газете, и вся страна узнаёт, что есть на свете эксперт-товаровед с **шестидесятилетним** стажем, по семейным обстоятельствам меняющий службу в Москве на работу в провинции.

Все регулируется, течет по расчищенным руслам, совершает свой кругооборот в полном соответствии с законом и под его защитой.

И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, **находится** в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта, **и они** не могли извлечь из своей профессии тех выгод, **которые она несомненно могла принести.**

Трудно найти более удобный плацдарм для всякого рода самозванцев, чем наше обширное государство, переполненное или сверх меры подозрительными или чрезвычайно доверчивыми администраторами, хозяйственниками и общественниками.

По всей стране, вымогая и кланя, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или, на худой конец, потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина. **Отряды мифических родственников усердно разрабатывают природные богатства страны: добросердечие, раболепство и низкопоклонничество.**

От Минска до Берингова пролива и от Нахичевани на Араксе до Земли Франца-Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей. Они торопятся. Дел у них много.

Одно время предложение **лже**-родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую, на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.

Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодородные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.

– И вы убоялись **все** возрастающих трудностей? – насмешливо спросил Остап.

Но Балаганов не заметил иронии. Попивая лиловый квас, он продолжал свое повествование.

Выход из этого напряженного положения был один – конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. **Незнакомым передал** через попадавших на пути внуков Маркса. И вот наконец ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик – у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от **18 до 52** лет и четыре дочери, глупые, немолодые и некрасивые.

В краткой вступительной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают наконец конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.

По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных **участка по** числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.

Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который тогда **уже** заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов.

Весь спор произошел из-за дележа участков.

Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были издававшие виды Москва, Ленинград и Харьков. **Все единодушно отказывались от республики немцев Поволжья.**



– А что, разве это такая плохая республика? – невинно спрашивал Балаганов. – Это, кажется, хорошее место. Немцы, как культурные люди, не могут не протянуть руку помощи!

– Знаем, знаем! – кричали разволновавшиеся дети. – У немцев возьмешь!

Видимо, не один из собравшихся сидел у недоверчивых немцев-колонистов в тюремном плену.

Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.

– Нашли дураков! – визгливо кричал Паниковский. – Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.

– Как! Всю возвышенность? – **язвил** Балаганов. – А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?

При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.

– Ну, не всю возвышенность, – настаивал жадный Паниковский, – хотя бы половину! Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи!

Но ему не дали и половины.

После долгих криков решено было делить участки по жребии. Были нарезаны тридцать четыре бумажки, и на каждую из них нанесено географическое название. Плодородный Курск и сомнительный Херсон, мало разработанный Минусинск и почти безнадежный Ашхабад, Киев, Петрозаводск и Чита, – все республики, все области лежали в чьей-то заячьей шапке с наушниками и ждали хозяев.

Веселые возгласы, глухие стоны и **грязные** ругательства сопровождали жеребьевку.

Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход дела. Ему **досталась бесплодная и мстительная республика немцев Поволжья**. Он присоединился к конвенции вне себя от злости.

– Я поеду! – кричал он. – Но предупреждаю, если **немцы** плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу.

Балаганов, которому достался золотой **Арбатовский** участок, **примыкавший к Республике Немцев**, встревожился и тогда же заявил, что нарушения эксплуатационных норм не потерпит.

Так или иначе, дело было упорядочено, после чего тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы, на работу.

– И вот вы, Бендер, сами видели, как этот гад нарушил конвенцию! – закончил свое повествование Шура Балаганов. – Он давно ползал по моему участку, только я до сих пор не мог его поймать.

Против ожидания рассказчика, дурной поступок Паниковского не вызвал со стороны Остапа осуждения. Бендер развалился на стуле, небрежно глядя перед собой. На высокой задней стене ресторана сада были нарисованы деревья, густолиственные и ровные, как на картинке в хрестоматии. Настоящих деревьев в саду не было, но тень, падающая от стены, давала живительную прохладу и вполне удовлетворяла граждан. Граждане были, по-видимому, поголовно членами союза, потому что пили одно только пиво и даже ничем не закусывали.

К воротам сада, непрерывно ахая и стреляя, подъехал зеленый автомобиль, на дверце которого была выведена белая дугообразная надпись: «Эх, прокачу!». Ниже помещались условия прогулок на веселой машине. В час – три рубля. За конец – по соглашению. Пассажиров в машине не было.

Посетители сада тревожно зашептались. Минут пять шофер просительно смотрел через решетку **сада** и, потеряв, видно, надежду заполучить пассажира, вызывающе крикнул:

– Такси свободен! Прошу садиться!

Но никто из граждан не выразил желания сесть в машину «Эх, прокачу!» И даже самое приглашение шофера действовало на них странным образом. Они понурились и старались не смотреть в сторону машины. Шофер покачал головой и медленно отъехал. Арбатовцы печально смотрели ему вслед. Через пять минут зеленый автомобиль бешено промчался мимо сада в обратном направлении. Шофер подпрыгивал на своем **сидении** и что-то неразборчиво кричал. Машина была пуста по-прежнему.

Остап проводил ее взглядом и сказал:

– Так вот, Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я **просто** хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем.

– Идите к черту! – грубо сказал Балаганов.

– Вы все-таки обиделись? Значит, по-вашему, должность лейтенантского сына это не пижонство?

– Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта! – вскричал Балаганов.

– Вы пижон, – повторил Остап, – **и** сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, – это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год еще, ну, два! А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить.

– Так что же делать? – забеспокоился Балаганов. – Как снискать хлеб насущный?

– Надо мыслить, – сурово **ответил** Остап. – Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?

– Пять тысяч, – быстро ответил Балаганов.

– В месяц?

– В год.

– Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.

– Может, все-таки возьмете частями? – спросил мстительный Балаганов.

Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:

– Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

Балаганов хотел было пошутить **и** по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с **точеным**, словно выбитым на монете, лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий **вишневый** шрам. Глаза сверкали грозным весельем.

Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. Ему даже захотелось откашляться, как это бывает с людьми средней ответственности при разговоре с кем-либо из вышестоящих товарищей. И действительно, откашлявшись, он смущенно спросил:

– Зачем же вам так много денег... и сразу?

– Вообще-то мне нужно больше, – сказал Остап, – пятьсот тысяч – это мой минимум, пятьсот тысяч полновесных ориентировочных рублей. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро.

– У вас там родственники? – спросил Балаганов.

– А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?

– Нет, но мне...

– У меня нет родственников, товарищ Шура, – я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города.

Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.

Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.

– Это вырезка из **Малой советской энциклопедии**. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро: «1360 тысяч жителей»... так... «значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана»... Вот, вот!.. «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, **чарльстон** «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и... о чем говорить! Вы сами видите, что происходит! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах! Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. **Что я каменщик, каменщик в фартуке белом?..** Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?

– Где же вы возьмете пятьсот тысяч? – тихо спросил Балаганов.

– Где угодно, – ответил Остап. – Покажите мне только **богатого** человека, и я отниму у него деньги.

– Как? Убийство? – **Еще** тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали заздравные фужеры.

– Знаете, – сказал Остап, – вам не надо было подписывать так называемой **Сухаревской** конвенции. Это умственное упражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев. **Но** я чту **уголовный** кодекс. Это моя слабость.

– Как **же** думаете отнять деньги?

– Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей. И в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь незащищенное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое уважение к **уголовному** кодексу. Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче. Но его нет, этого индивидуума.

– Да что вы! – воскликнул Балаганов. – Есть очень богатые люди!

– А вы их знаете? – немедленно сказал Остап. – Можете вы назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного советского миллионера? А ведь они есть, они должны быть. **Но** как найти такого **ловкача**?

Остап даже вздохнул. Видимо, грезы о богатом индивидууме давно волновали его.

– Как приятно, – сказал он **раздумчиво**, – работать с легальным миллионером в хорошо организованном буржуазном государстве со старинными капиталистическими традициями. Там миллионер – популярная фигура. Адрес его известен. Он живет в особняке, где-нибудь в Рио-де-Жанейро. Идешь прямо к нему на прием и уже в передней после первых же приветствий отнимаешь деньги. И все это, имейте в виду, по-хорошему, вежливо: «Алло, сэр, не волнуйтесь! Придется вас маленько побеспокоить. **Ол-райт!** Готово». И все. Культура! Что может быть проще? Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес. Только не надо стрелять в люстру, это лишнее. А у нас... боже, боже, в какой холодной стране мы живем. У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже Наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду, за соседним столиком, и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!

– Значит, вы думаете, – спросил Балаганов, погодя, – что если бы нашелся такой вот тайный миллионер, то...

– Не продолжайте, **я** знаю, что вы хотите сказать. Нет, не то, совсем не то. Я не буду душить его подушкой или бить **вороним** наганом по голове. И вообще, ничего дурацкого не будет. Ах! Если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.

– Это очень хорошо! – Балаганов доверчиво усмехнулся. – Пятьсот тысяч на блюдечке с голубой каемкой!

Он поднялся и стал кружиться вокруг столика. Он жалобно причмокивал языком, оставив рот открытым, как бы желая что-то произнести, но, ничего не сказав, садился и снова вставал. Остап равнодушно следил за эволюциями Балаганова.

– Сам принесет? – спросил вдруг Балаганов скрипучим голосом. – На блюдечке? А если не принесет? А где это Рио-де-Жанейро? Далеко? Не может того быть, чтобы все ходили в белых штанах! Вы это бросьте, Бендер! На пятьсот тысяч можно и у нас хорошо прожить.

– Бесспорно, бесспорно, – весело сказал Остап, – прожить можно. Но вы не трещите крыльями без повода. У вас же пятисот тысяч нет.

На безмятежном, неспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил:

– Я знаю такого миллионера. **Может выйти дело.**

С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания.

– Идите, идите, – сказал он, – я подаю только по субботам, нечего тут заливать.

– Честное слово, мосье Бендер!..

– Слушайте, Шура, если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не **месье**, а ситуайен, что значит – гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера?

– Он живет в Черноморске.

– Ну, конечно, так и знал! Черноморск! Там даже в довоенное время человек с десятью тысячами назывался миллионером. А теперь... могу себе представить! Нет, это чепуха!

– Да нет же, дайте мне сказать. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне **сидеть** в тамошнем допре...

Через десять минут молочные братья покинули летний кооперативный сад с подачей пива. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. Все готово. В электрических кастрюльках парятся салфетки и бинты, сестра милосердия в белой тоге неслышно передвигается по кафельному полу, **блестит** медицинский фаянс и никель, больной лежит на стеклянном столе, томно закатив глаза к потолку, в специально нагретом воздухе носится запах немецкой жевательной резинки. Хирург с растопыренными руками подходит к операционному столу, принимает от ассистента стерилизованный финский нож и сухо говорит больному:

«Ну-с, снимайте бурнус!»

– У меня всегда так, – сказал Бендер, блестя глазами, – миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков. Весь мой капитал, основной, оборотный и запасный, исчисляется пятью рублями... Как, вы сказали, фамилия подпольного миллионера?

– Корейко, – ответил Балаганов.

– Да, да, Корейко. Прекрасная фамилия. И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?

– Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам **уже** говорил, будет сидеть в тюрьме еще года три. Если б вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, **видимо**, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейко.

– То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете **все дело** мне. А это действительно бедному Пружанскому прямой убыток. К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице: «Бедность не порок».

Остап скинул свою летнюю фуражку и, помахав ею в воздухе, спросил:

– Есть у меня седые волосы?

Балаганов подобрал живот, раздвинул носки на ширину ружейного приклада и голосом правофлангового ответил:

– Никак нет.

– Значит, будут. Нам предстоят великие бои. Вы тоже поседете, Балаганов.

Балаганов вдруг глуповато хихикнул.

– Как вы говорите? Сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?

– Мне на блюдечке, – сказал Остап, – а вам на тарелочке.

– А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах.

– Рио-де-Жанейро, **это хрупкая** мечта моего детства, – строго ответил великий комбинатор, – не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск в наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Ну, трубите марш! Командовать парадом буду я!.

Глава третья. Бензин ваш – идеи наши

За год до того как Паниковский нарушил конвенцию, проникнув в чужой эксплуатационный участок, в городе Арбатове появился первый автомобиль. Основоположником автомобильного дела был шофер по фамилии Козлевич.

К рулевому колесу его привело решение начать новую жизнь. Старая жизнь Адама Козлевича была греховна. Он беспрестанно нарушал **уголовный** кодекс РСФСР, а именно статью 162-ю, трактующую вопросы тайного похищения чужого имущества (кража). Статья эта имеет много пунктов, но грешному Адаму был чужд пункт «а» (кража, совершенная без применения каких-либо технических средств). Это было для него слишком примитивно. Пункт «д», карающий лишением свободы на срок до пяти лет, ему **также** не подходил. Он не любил долго сидеть в тюрьме. И так как с детства его влекло к технике, то он всею душою отдался пункту «в» (тайное похищение чужого имущества, совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с другими лицами, **а равно, хотя и без указанных условий, совершенное** на вокзалах, пристанях, пароходах, вагонах и в гостиницах).

Но Козлевичу не везло. Его ловили и тогда, когда он применял излюбленные им технические средства, и тогда, когда он обходился без них: **его** ловили на вокзалах, пристанях, на пароходах и в гостиницах. В вагонах его тоже ловили. Его ловили даже тогда, когда он в полном отчаянии начинал хватать чужую собственность по предварительному сговору с другими лицами.

Просидев в общей сложности года три, Адам Козлевич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься **честным** накоплением своей собственности, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете «Солнце всходит и заходит» и усердно работал в механической мастерской **Исправдома**. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Козлевич Адам Казимирович, **46** лет, происходящий из крестьян б. Ченстоховского уезда, холостой, неоднократно судившийся, вышел из тюрьмы честным человеком.

После двух лет работы в одном из московских гаражей он купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. Редкий экспонат был продан Козлевичу за сто девяносто рублей. Автомобиль почему-то продавался вместе с искусственной пальмой в зеленой кадке. Пришлось купить и пальму. Пальма была еще туда-сюда, но с машиной пришлось долго возиться: выискивать на базарах недостающие части, латать **сиденье**, заново ставить электрохозяйство. Ремонт был увенчан окраской машины в ящеричный зеленый цвет. Порода машины была неизвестна, но Адам Казимирович утверждал, что это «**Лорен-Дитрих**». В виде доказательства он приколотил к радиатору автомобиля медную бляшку с **лорендитрихской** фабричной маркой. Оставалось приступить к частному прокату, о котором Козлевич давно мечтал.

В тот день, когда Адам Казимирович собрался впервые вывезти свое детище в свет, на автомобильную биржу, произошло печальное для всех частных шоферов событие. В Москву прибыли сто двадцать маленьких черных, похожих на браунинги таксомоторов «**Рено**». Козлевич даже и не пытался с ними конкурировать. Пальму он сдал на хранение в извозничью чайную «Версаль» и выехал на работу в провинцию.

Арбатов, лишенный автомобильного **хозяйства**, понравился шоферу, и он решил остаться в нем навсегда.

Адаму Казимировичу **представлялось**, как трудолюбиво, весело и, главное, честно он будет работать на ниве автопроката. **Представлялось** ему, как ранним **собачьим** утром дежурит он у вокзала в ожидании московского поезда. Завернувшись в рыжую коровью доху и подняв на лоб авиаторские консервы, он дружелюбно угощает носильщиков папиросами. Где-то сзади жмутся обмерзшие извозчики. Они плачут от холода и трясут толстыми синими юбками. Но вот слышится тревожный звон станционного колокола. Это – повестка. Пришел поезд. Пассажиры выходят на **привокзальную** площадь и с довольными гримасами останавливаются перед машиной. Они не ждали, что в арбатовское захолустье уже проникла идея автопроката. Трубя в рожок, Козлевич мчит пассажиров в Дом крестьянина.

Работа есть на весь день, все рады воспользоваться услугами механического экипажа. Козлевич и его верный «**Лорен-Дитрих**» – неперенные участники всех городских свадеб, экскурсий и торжеств. Но больше всего работы летом. По воскресеньям на машине Козлевича выезжают за город целые семьи. Раздается бессмысленный смех детей, ветер дергает шарфы и ленты, женщины весело лопочут, отцы семейств с уважением смотрят на кожаную спину шофера и расспрашивают его о том, как обстоит автомобильное дело в **Северо-Американских** Соединенных штатах (верно ли, в частности, то, что Форд ежедневно покупает себе новый автомобиль).

Так рисовалась Козлевичу его новая чудная жизнь в Арбатове. Но действительность в кратчайший срок развалила построенный воображением Адама Казимировича воздушный замок со всеми его башенками, подъемными мостами, **флагами и штандартами**.

Сначала подвел железнодорожный график. Скорые и курьерские поезда проходили станцию Арбатов без остановки, с ходу принимая жезлы и сбрасывая **почту**. Смешанные поезда приходили только дважды в неделю. Они привозили народ все больше мелкий: ходяков и башмачников с котомками, колодками и прошениями. Как правило, смешанные пассажиры машиной не пользовались. Экскурсий и торжеств не было, а на свадьбы Козлевича не приглашали. В Арбатове под свадебные процессии привыкли нанимать извозчиков, которые в таких случаях вплетали в лошадиные гривы бумажные розы и хризантемы, что очень нравилось посаженным отцам.

Однако загородных прогулок было множество. Но они были совсем не такими, о каких мечтал Адам Казимирович. Не было ни детей, ни трепещущих **шаферов**, ни веселого лепета.

В первый же вечер, озаренный неяркими керосиновыми фонарями, к Адаму Казимировичу, который весь день бесплодно простоял на Спасо-Кооперативной площади, подошли четверо мужчин. Долго и молчаливо они вглядывались в автомобиль. Потом один из них, горбун, неуверенно спросил:

– Всем можно кататься?

– Всем, – ответил Козлевич, удивляясь робости арбатовских граждан. – Пять рублей в час.

Мужчины зашептались. До шофера донеслись **страстные** вздохи и слова: «Прокажемся, товарищи, после заседания? А удобно ли? По рублю двадцати пяти на человека не дорого. Чего ж неудобного?..»

И впервые поместительная машина приняла в свое коленкоровое лоно арбатовцев. Несколько минут пассажиры молчали, подавленные быстротой передвижения, горячим запахом бензина и свистками ветра. Потом, томимые неясным предчувствием, тихонько затянули: «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Козлевич взял **вторую** скорость. Промелькнули мрачные очертания законсервированной продуктовой палатки, и машина выскочила в поле на лунный тракт.

«Что день, то короче к могиле наш путь», – томно выводили пассажиры. Им стало жалко самих себя, стало обидно, что они никогда не были студентами. Припев они исполнили громкими голосами:

«По рюмочке, по маленькой, тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом».

– Стой! – закричал вдруг горбун. – Давай назад! Душа горит!

В городе седоки захватили много белых кегельных бутылочек и какую-то широкоплечую гражданку. В поле разбили бивак, ужинали с водкой, а потом без музыки танцевали польку-кокетку.

Истомленный ночным приключением, Козлевич весь день продремал у руля на своей стоянке. А к вечеру явилась вчерашняя компания, уже навеселе, снова уселась в машину и всю ночь носилась вокруг города. На третий день повторилось то же самое. Ночные пиры веселой компании под предводительством горбуна продолжались две недели кряду. Радости автомобилизации оказали на клиентов Адама Казимировича странное влияние: лица у них опухли и белели в темноте, как подушки. Горбун с куском колбасы, свисавшим изо рта, походил на вурдалака.

Они стали суетливыми и в разгаре веселья иногда плакали. Один раз бедовый горбун подвез на извозчике к автомобилю мешок рису. На рассвете рис повезли в деревню, обменяли там на самогон-первач и в этот день в город уже не возвращались. Пили с мужиками на брудершафт, сидя на скирдах. А ночью зажгли костры и плакали особенно жалобно.

В последовавшее затем серенькое утро железнодорожный кооператив «Линеец», в котором горбун был заведующим, а его веселые товарищи членами правления и лавочной комиссии, закрылся для переучета товаров. Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни **риса**. Полки, прилавки, ящики и кадушки – все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги, сорок девятый номер, на желтой картонной подошве, и **мутно** мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь», никелированный дамский бюст, **который** был усеян разноцветными кнопками. А к Козлевичу на квартиру прислали повестку от народного следователя; шофер вызывался свидетелем по делу кооператива «Линеец».

Горбун и его друзья больше не являлись, и зеленая машина три дня простояла без дела.

Новые пассажиры, подобно первым, **явились** под покровом темноты. Они тоже **начали** с невинной прогулки за город, но мысль о водке **возникла** у них, едва только машина **сделала** первые полкилометра. По-видимому, арбатовцы не представляли себе, как это можно пользоваться автомобилем в трезвом виде, и считали **авто-телегу** Козлевича гнездом разврата, где обязательно нужно вести себя разухабисто, издавать непотребные крики и вообще прожигать жизнь.

Только тут Козлевич понял, почему мужчины, проходившие днем мимо его стоянки, подмигивали друг другу и нехорошо улыбались.

Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных рощ, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания. Арбатовцы прожигали **свою жизнь** почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину **уголовного** кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.

Начались судебные процессы. И в каждом из них главным свидетелем обвинения выступал Адам Казимирович. Его правдивые рассказы сбивали подсудимых с ног, и они, задыхаясь в слезах и соплях, признавались во всем. Он погубил множество учреждений. Последней его жертвой пало филиальное отделение областной киноорганизации, снимавшее в Арбатове исторический фильм «Стенька Разин и княжна». Весь филиал упрятали на шесть лет, а фильм, представлявший **узко-судебный** интерес, был передан в музей вещественных доказательств, где уже находились охотничьи ботфорты из кооператива «Линеец».

После этого наступил крах. Зеленого автомобиля стали бояться, как чумы. Граждане далеко обходили Спасо-Кооперативную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столб с табличкой «Биржа автомобилей». В течение нескольких месяцев Адам не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные им **во** время ночных поездок.

Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и, на его взгляд, весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:

– Воздух-то какой! **Прокатаемся**, что ли?

Должностные лица высовывались на улицу и, под грохот ундервудов, отвечали:

– Сам катайся! Душегуб!

– Почему же душегуб? – чуть не плача, спрашивал Козлевич.

– Душегуб и есть, – отвечали служащие, – под выездную сессию подведешь!

– А вы бы на свои катались! – запальчиво кричал шофер. – На собственные деньги!

При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым.

Владелец «Эх, прокачу!» рассорился со всем городом. Он уже ни с кем не раскланивался, стал нервным и злым. Завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубашке с баллонными рукавами, он подъезжал к нему сзади и с горьким смехом кричал:

– Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу! Под сто девятую статью!

Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе пояс с серебряным набором, каким обычно **украшали** сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Козлевич продолжал ехать рядом и **дразнил** врага монотонным чтением карманного уголовного требника:

«Присвоение должностным лицом денег, ценностей или иного имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного положения, карается...»

Совслуж трусливо убежал, высоко подкидывая зад, сплюснутый от долгого сидения на конторском табурете.

– Лишением свободы, – кричал Козлевич вдогонку, – на срок до трех лет!

Но все это **если и приносило удовлетворение шоферу, то только моральное**. Материальные дела его были нехороши. Сбережения подходили к концу. Надо было принять какое-то решение. Дальше так продолжаться не могло.

В таком воспаленном состоянии Адам Казимирович сидел однажды в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик «Биржа автомобилей». Он смутно понимал, что честная жизнь не удалась, что автомобильный мессия прибыл раньше срока и граждане не поверили в него. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что **не заметил даже** двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной.

– Оригинальная конструкция, – сказал наконец один из них, – заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной **машинки** Зингера? Небольшое приспособление – и получилась прелестная колхозная сноповязалка.

– Отойди! – угрюмо сказал Козлевич.

– То есть как это «отойди»? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу!»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно эх-прокатиться?

И первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.

– Пожалуйста, – сказал он, – куда везти?

– На этот раз – никуда, – **заметил** Балаганов, – денег нету! Ничего не поделаешь, товарищ механик, бедность.

– Все равно, садись! – закричал Козлевич отчаянно. – **Повезу** даром! Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!

– Ну, что ж, воспользуемся гостеприимством, – сказал Остап, усевшись рядом с шофером. – У вас, я вижу, хороший характер. Но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?

– Тут все такие, – ответил шофер, выводя машину на главную улицу, – государственные преступники!

Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем. Лучше всего, конечно, было бы рассказать про свои страдания нежной морщинистой маме. Она бы пожалела. Но мадам Козлевич давно уже скончалась от горя, когда узнала, что сын ее Адам начинает приобретать известность как вор-рецидивист. И шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого **барахтается** сейчас его зеленый автомобиль.

– Куда теперь ехать? – с тоской закончил Козлевич. – Куда податься?

Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал:

– Все ваши беды происходят оттого, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. Печально наблюдать в среде шоферов такие упадочнические настроения. У вас есть автомобиль – и вы не знаете, куда ехать! У нас дела похуже – у нас автомобиля нет. **И все-таки** мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?

– Куда? – спросил шофер.

– В Черноморск, – сказал Остап. – У нас там небольшое интимное дело. И вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?

Сперва Адам Казимирович только улыбался, словно вдова, которой ничего уже в жизни не мило. Но Бендер не жалел **краски**. Он развернул перед смущенным шофером удивительные дали и тут же раскрасил их в голубой и розовый цвета.

– А в Арбатове вам терять нечего, кроме запасных цепей, – **убеждал он**. – По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш – идеи наши!

Козлевич остановил машину и, все еще упираясь, хмуро сказал:

– Бензину мало!

– На пятьдесят километров хватит?

– Хватит на восемьдесят.

– В таком случае все в порядке. **Как я** вам уже **сообщал**, что в идеях и мыслях у меня недостатка нет. Ровно через шестьдесят километров вас **будет** прямо на дороге поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?

– Нравится, – застенчиво ответил Козлевич.

Жизнь вдруг показалась ему легкой и веселой. Ему захотелось ехать в Черноморск немедленно.

– И эту бочку, – закончил Остап, – вы получите совершенно бесплатно. Скажу более. Вас будут просить, чтобы вы приняли этот бензин.

– Какой бензин? – шепнул Балаганов. – Что вы плетете?

Остап важно посмотрел на оранжевые веснушки, рассеянные по лицу молочного брата, и так же тихо ответил:

– Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. **Они никому не нужны**. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать.

Остап не разъяснил, какая связь существует между чтением газет и большой бочкой с бензином, которая, якобы, лежит на дороге.

– Объявляю большой скоростной пробег Арбатов – Черноморск открытым! – торжественно сказал Остап. – Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется... **Как** ваша фамилия?.. Адам Козлевич. Гражданин Балаганов утверждает бортмеха-

ником с возложением на такового обязанностей прислуги за все. Только вот что, Козлевич, надпись «Эх, прокачу!» надо немедленно закрасить. Нам не нужны особые приметы.

Через два часа **зеленая** машина со свежим темно-зеленым пятном на боку медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбата. Надежда светилась в глазах Козлевича. Рядом с ним сидел Балаганов. Он хлопотливо перетирал тряпочкой медные части, ревностно выполняя новые для него обязанности бортмеханика. Командор пробега развалился на рыжем сиденье, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных.

– Адам! – закричал он, покрывая скрежет мотора. – Как зовут вашу тележку?

– «**Лорен-Дитрих**», – ответил Козлевич.

– Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш «**Лорен-Дитрих**» отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название – **Антилопа. Антилопа-Гну**. Кто против? Единогласно.

Зеленая **Антилопа**, скрипя всеми своими частями, **помчалась** по внешнему проезду Бульвара Молодых Дарований и вылетела на рыночную площадь.

Там взору экипажа **Антилопы** представилась **бытовая** картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с **криками** бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и **тогда** на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.

– Паниковский бежит! – закричал Балаганов.

– Вторая стадия кражи гуся, – холодно заметил Остап. – Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.

О приближении третьей стадии Паниковский, вероятно, догадывался, потому что бежал во всю прыть. От страха он не выпускал гуся, и это вызывало в **преследовавших сильнейшее** раздражение.

– **166** статья, – наизусть сказал Козлевич. – Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.

Балаганов захохотал. Его тешила мысль, что нарушитель конвенции получит законное возмездие.

Машина выбралась на шоссе, прорезав галдящую толпу.

– Спасите! – закричал Паниковский, когда **Антилопа** с ним поравнялась.

– Бог подаст! – ответил Балаганов, свешиваясь за борт.

Машина обдала Паниковского клубами малиновой пыли.

– Возьмите меня! – вопил Паниковский, из последних сил держась рядом с машиной. – Я хороший!

Голоса преследователей сливались в общий недоброжелательный гул.

– Может, возьмем гада? – спросил Остап.

– Не надо, – жестоко ответил Балаганов, – пусть в другой раз знает, как нарушать конвенции!

Но Остап уже принял решение.

– Брось птицу! – закричал он Паниковскому и, обращаясь к шоферу, добавил: – Малый ход!

Паниковский немедленно повиновался. Гусь недовольно поднялся с земли, почесался и как ни в чем не бывало пошел обратно в город.

– Влезайте, – предложил Остап, – черт с вами! Но больше не грешите, а то вырву руки с корнем.

Паниковский, перебирая ногами, ухватился за кузов, потом налег на борт животом, перевалился в машину, как купающийся в лодку, и, стуча манжетами, упал на дно.

– Полный ход! – скомандовал Остап. – Заседание продолжается!

Балаганов надавил **резиновую** грушу, и из медного рожка вырвались старомодные, веселые, внезапно обрывающиеся звуки:

Матчиш прелестный танец.

Та-ра-та...

Матчиш прелестный танец.

Та-ра-та...

И **Антилопа-Гну** вырвалась в дикое поле навстречу бочке с авиационным бензином.

Глава четвертая. Обыкновенный чемоданишко

Человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, и белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома **№ 16**. Очутившись на тротуаре, выложенном голубоватыми каменными плитами, он остановился и негромко сказал:

– Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал.

Произнеся эти слова, человек в сандалиях быстро обернулся. Ему показалось, что за его спиной стоит гражданин с цинковой мордой соглядатая. Но Малая Касательная улица была совершенно пуста.

Июньское утро еще только начинало формироваться. Акации подрагивали, роняя на плоские камни холодную оловянную росу. Уличные птички отщелкивали какую-то веселую **ералашь**. В конце улицы, внизу, за крышами домов, пылало литое, тяжелое море. Молодые собаки, печально оглядываясь и стуча когтями, взбирались на мусорные ящики. Час дворников уже прошел, час молочниц еще не начинался.

Был тот промежуток между пятью и шестью часами, когда дворники, вдоволь намахавшись колючими метлами, уже разошлись по своим шатрам, в городе светло, чисто и тихо, как в государственном банке; в такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша в самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина; но уже доносится далекий гром, это выгружаются из дачных поездов молочницы с бидонами. Сейчас они бросятся в город и на площадках черных лестниц затеют обычную свару с домашними хозяйками. На миг покажутся рабочие с кошелками и тут же скроются в заводских воротах, **из** фабричных труб грянет дым. А потом, подпрыгивая от злости, на ночных столиках зальются **грачным** звоном мириады будильников (фирмы «Павел Буре» потише, треста **«Точный механик»** позвончее); и замычат спросонок советские служащие, падая с высоких девичьих кроваток. Час молочниц окончится, наступит час служилого люда.

Но было еще рано, служащие еще спали под **фикусами**. Человек в сандалиях прошел весь город, почти никого не встретив на пути. Он шел под акациями, которые в Черноморске несли некоторые общественные функции: на одних висели синие почтовые ящики с ведомственным гербом – **конвертом и молнией**, к другим же были прикованы жестяные лоханочки с водою для собак.

На Приморский вокзал человек в сандалиях прибыл в ту минуту, когда оттуда выходили молочницы. Больно ударившись несколько раз об их железные плечи, он подошел к камере хранения ручного багажа и предъявил квитанцию. Багажный смотритель с неестественной строгостью, принятой только на железных дорогах, взглянул на квитанцию и тут же выкинул предъявителю его чемодан. Предъявитель в свою очередь расстегнул кожаный кошелечек, со вздохом вынул оттуда десятикопеечную монету и положил ее на багажный прилавок, сделанный из шести старых, отполированных локтями рельсов.

Очутившись на вокзальной площади, человек в сандалиях поставил чемодан на мостовую, заботливо оглядел **его** со всех сторон и даже потрогал рукою его белый портфельный замочек. Это был обыкновенный чемоданишко, состряпанный из дерева и оклеенный искусственной фиброй. В таких вот чемоданишках пассажиры помоложе содержат нитяные носки **«СКЭТЧ»**, две перемены толстовок, один волосодержатель, трусики, брошюру «Задачи комсомола в деревне» и три крутых сдавленных яйца; **кроме** того, в углу обязательно находится комок грязного белья, завернутый в газету «Экономическая жизнь». Пассажиры постарше хранят в таком чемодане полный пиджачный костюм и отдельно к нему брюки из клетчатой материи, известной под названием **«Столетие Одессы»**, подтяжки на роликах, домашние туфли с язычками, флакон **с тройным одеколоном** и белое марсельское одеяло. Надо заме-

тить, что и в этом случае в углу имеется кое-что завернутое в «Экономическую жизнь». Но это уже не грязное белье, а бледная вареная курица.

Удовлетворившись беглым осмотром, человек в сандалиях подхватил чемодан и влез в белый тропический вагон трамвая, доставивший его на другой конец города – к Восточному вокзалу. Здесь его действия были прямо противоположны тому, что он проделал только что на Приморском вокзале. Он сдал свой чемодан на хранение и получил квитанцию от величавого багажного смотрителя.

Совершив эти странные эволюции, хозяин чемодана покинул вокзал как раз в то время, когда на улицах уже появились наиболее примерные служащие. Он вmeshался в их нестройные колонны, после чего костюм его потерял всякую оригинальность. Человек в сандалиях был служащим, а служащие в Черноморске почти все одевались по неписаной моде: ночная рубашка с закатанными выше локтей рукавами, легкие сиротские брюки, те же сандалии или парусиновые туфли. Никто не носил шляп и картузов. Изредка только попадалась кепка, а чаще всего черные, дыбом поднятые патлы, а еще чаще, как дыня на баштане, мерцала загоревшая от солнца лысина, на которой очень хотелось написать химическим карандашом какое-нибудь слово.

Учреждение, в котором служил человек в сандалиях, называлось **ГЕРКУЛЕС** и помещалось в бывшей гостинице. Вертящаяся стеклянная дверь с медными пароходными поручнями втокнула его в большой вестибюль из розового мрамора. В заземленном лифте помещалось бюро справок. Оттуда уже выглядывало смеющееся женское лицо. Пробежав по инерции несколько шагов, вошедший остановился перед **стариком-швейцаром** в фуражке с золотым зигзагом на околыше и молодецким голосом спросил:

– Ну, что, старик, в крематорий пора?

– Пора, батюшка, – ответил швейцар, радостно улыбаясь, – в наш советский колумбарий.

Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась полная готовность хоть сейчас предаться огненному погребению.

В Черноморске **собрались** строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием, и это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова – крематорий и колумбарий, а может быть, особенно забавляла их самая мысль о том, что человека можно сжечь, как полено; но только они приставали ко всем старикам и старухам в трамваях и на улицах с криками: «Ты куда, старушка, прешься? В крематорий торопишься?» или «Пропустите старичка вперед, ему в крематорий пора». И, удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень **нравились**, так что веселые шуточки вызывали у них полное одобрение. И вообще разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котиrowаться в Черноморске наравне с анекдотами из еврейской и кавказской жизни и вызывали всеобщий интерес.

Обогнув помещавшуюся в начале лестницы голую мраморную девушку, которая держала в поднятой руке электрический факел, и с неудовольствием взглянув на плакат: «Чистка **ГЕРКУЛЕС’а** начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку», служащий поднялся на второй этаж. Он работал в финансово-счетном отделе.

До начала занятий оставалось еще пятнадцать минут, но за своими столами уже сидели **Сахарков**, Дрейфус, Тезоименицкий, Музыкант, Чеважевская, Кукушкинд, Борисохлебский и Лapidус-младший. Чистки они нисколько не боялись, в чем неоднократно заверяли друг друга, но в последнее время почему-то стали приходить на службу как можно раньше. Пользуясь немногими минутами свободного времени, они шумно переговаривались между собой. Голоса их гудели в огромном зале, который в былое время был гостиничным рестораном.

Об этом напоминали потолок в **дубовых резных** кессонах и расписанные стены, где с ужасающими улыбками кувыркались менады, наяды и дриады.

– Вы слышали новость, Корейко? – спросил вошедшего Лапидус-младший. – Неужели не слышали? Ну? Вы будете поражены!

– Какая новость? Здравствуйте, товарищи! – произнес Корейко. – Здравствуйте, Анна Васильевна.

– Вы даже **представить себе** не можете! – с удовольствием сказал Лапидус-младший. – Бухгалтер Берлага попал в сумасшедший дом.

– Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальнейший человек!

– До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал **ненормальнейший**, – вступил в разговор Борисохлебский. – Это факт. Мне **звонила его жена**. У него серьезнейшее психическое заболевание, расстройство пяточного нерва.

– Надо только удивляться, что у нас у всех нет еще расстройства этого нерва, – зловеще заметил старик Кукушкинд, глядя на сослуживцев сквозь овальные никелированные очки.

– Не каркайте! – сказала Чеважевская. – Вечно он тоску наводит.

– Все-таки жалко Берлагу, – отозвался Дрейфус, повернувшись на своем винтовом табурете лицом к обществу.

Общество молчаливо согласилось с Дрейфусом. Один только Лапидус-младший загадочно усмехнулся. Разговор перешел на тему о поведении душевнобольных; заговорили о маньяках, рассказано было несколько историй про знаменитых сумасшедших.

– Вот у меня, – воскликнул Сахарков, – был сумасшедший дядя, который воображал себя одновременно Авраамом, Исааком и Иаковом. Представляете себе, какой шум он **подымал?**..

– Надо только удивляться, – жестяным голосом сказал старик Кукушкинд, неторопливо протирая очки полой пиджака, – надо только удивляться, что мы все еще не вообразили себя Авраамом, – старик засопел, – Исааком...

– И Иаковом? – насмешливо спросил Сахарков.

– Да! И Яковом! – внезапно завизжал Кукушкинд. – И Яковом! Именно Яковом! Живешь в такое нервное время... Вот когда я работал в банкирской конторе «Сикоморский и Цесаревич», тогда не было никакой чистки...

При слове «чистка» Лапидус-младший встрепенулся, взял Корейко об руку и увел его к громадному окну, на котором разноцветными стеклышками были выложены два готических рыцаря.

– самого интересного про Берлагу вы еще не знаете, – зашептал он, – Берлага здоров, как бык.

– Как? Значит, он не в сумасшедшем доме?

– Нет, в сумасшедшем.

Лапидус тонко улыбнулся.

– В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач. Даже завидно.

– У него, **вероятно**, родители не в порядке? Торговцы? Чуждый элемент?

– Да. **И** родители не в порядке, и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция. Люди устраивались как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику... Я лично не вижу в этом ничего **плохого**.

– Надо было знать, – холодно сказал Корейко.

– Вот я и говорю, – быстро подхватил Лапидус, – таким не место в советском учреждении.

И, посмотрев на Корейко расширенными глазами, он удалился к своему столу.

Зал уже наполнился служащими, из ящиков были вынуты эластичные металлические линейки, отсвечивающие селечным серебром, счеты с пальмовыми косточками, толстые книги, разграфленные розовыми и голубыми линиями, и множество прочей мелкой и крупной канцелярской утвари. Тезоименицкий сорвал с календаря вчерашний листок, **начался** новый день, и кто-то из служащих уже впился молодыми зубами в длинный бутерброд с бараньим паштетом.

Уселся за свой стол и Корейко. Утвердив загорелые локти на письменном столе, он принялся вносить записи в контокоррентную книгу.

Александр Иванович Корейко, один из ничтожнейших служащих **ГЕРКУЛЕС’а**, был человек в последнем приступе молодости, ему было **38** лет. На красном сургучном лице сидели желтые пшеничные брови и белые глаза. Английские усики цветом **даже** походили на созревший злак. Лицо его казалось бы совсем молодым, если бы не грубые ефрейторские складки, пересекавшие щеки и шею. На службе Александр Иванович вел себя как сверхсрочный солдат: не рассуждал, был исполнителен, трудолюбив, искателен и туповат.

– Робкий он какой-то, – говорил о нем начальник финсчета, – какой-то уж слишком приниженный, преданный какой-то чересчур. Только объявят подписку на заем, как он уже лезет со своим месячным окладом. Первым подписывается. А весь оклад-то **46** рублей. Хотел бы я знать, как он существует на эти деньги.

Была у Александра Ивановича удивительная особенность. Он мгновенно умножал и делил в уме большие трехзначные и четырехзначные числа. Но это не освободило **Александра Ивановича** от репутации туповатого парня.

– **Слушай**, Александр Иванович, – спрашивал сосед, – сколько будет **836** на **423**?

– **353.628**, – отвечал Корейко, помедлив самую малость.

И сосед не проверял результата умножения, ибо знал, что туповатый Корейко никогда не ошибается.

– Другой бы на его месте карьеру сделал, – **говорил** и Сахарков, и Дрейфус, и Тезоименицкий, и Музыкант, и Чеважевская, и Борисохлебский, и Лапидус-младший, и старый дурак Кукушкинд, и даже бежавший в сумасшедший дом бухгалтер Берлага, – а этот **шляпа**. Всю жизнь будет сидеть на своих сорока шести рублях.

И, конечно, сослуживцы Александра Ивановича, да и сам начальник финсчета товарищ Арников, и не только он, но даже **начальник ГЕРКУЛЕС’а товарищ Огонь-Полыхаев, и личная его секретарша Серна Михайловна, ну, словом, все** – были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал зачем-то с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали не брюки «**Столетие Одессы**», не бледная курица и не какие-нибудь «Задачи комсомола в деревне», а десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.

В 1915 году мещанин Саша Корейко был **двадцатитрехлетним** бездельником из числа тех, которых по справедливости **называли** гимназистами в отставке. Реального училища он не окончил, делом никаким не занялся, шатался по бульварам и прикармливался у родителей. От военной службы его избавил дядя, делопроизводитель воинского начальника, и **потому** он без страха слушал крики полусумасшедшего газетчика:

– Последние телеграммы! Наши наступают! Слава богу! Много убитых и раненых! Слава богу!

В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице и вдруг у водосточного желоба, осыпанного цинковыми звездами, под самой стенкой находит вишневый, скрипящий, как седло, кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей. **А** дальше все будет чрезвычайно хорошо. Он так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской

победы, в асфальтовом углу, образованном выступом дома, у звездного желоба. Там лежит он, кожаный благодетель, чуть присыпанный сухим цветом акаций, в соседстве со сплюснутым окурком. На **улицу** Полтавской **победы** Саша ходил каждый день, но, к крайнему его удивлению, бумажника не было. Он шевелил мусор гимназическим стеком и тупо смотрел на висевшую у парадного хода эмалированную дощечку: «Податной инспектор Ю. М. **Бомбе**». И Саша ошалело брел домой, валился на красный плюшевый диван и мечтал о богатстве, оглушаемый ударами сердца и пульсов. Пульсы были маленькие, злые, нетерпеливые.

Революция семнадцатого года согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей, превосходной мебели, картин и ковров, шуб и сервизов. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство.

Но тогда он был еще глуп и молод. Он захватил большую квартиру, владелец которой благоразумно уехал на французском пароходе в Константинополь, и открыто в ней зажил. Целую неделю он вращался в чужой богатый быт исчезнувшего коммерсанта, пил найденный в буфете мускат, закусывая его пайковой селедкой, таскал на базар разные безделушки и был немало удивлен, когда его арестовали.

Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. **Дело его затерялось, и молодой человек был выпущен только потому, что никто не знал, в чем он обвиняется.**

От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело **его** требует скрытности, темноты и постепенности. Нужно было надеть на себя защитную шкуру, и она пришла к Александру Ивановичу в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча работника по снабжению продовольствием.

В то беспокойное время все сделанное руками человеческими служило хуже, чем раньше: дома не спасали от холода, еда не насыщала, электричество зажигалось только по случаю большой облавы на дезертиров и бандитов, водопровод подавал воду только в первые этажи, а трамваи совсем не работали. Все же силы стихийные стали злее и опаснее: зимы были холодней, чем прежде, ветер был сильнее, и простуда, которая раньше укладывала человека в постель на три дня, теперь в те же три дня убивала его. И молодые люди без определенных занятий кучками бродили по улицам, бесшабашно распевая песенку о деньгах, потерявших свою цену:

Залетаю я в буфет,
Ни копейки денег нет,
Разменяйте десять миллио-нов...

Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал с великими ухищрениями, превращаются в ничто.

Тиф валил людей тысячами, Саша торговал краденными из склада медикаментами. Он заработал на тифе пятьсот миллионов, но денежный курс за месяц превратил их в пять миллионов. На сахаре он заработал миллиард. Курс превратил эти деньги в порошок.

В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге. Вместе с ним пропал и Александр Иванович.

Глава пятая. Подземное царство

Оранжевые сапоги вынырнули в Москве, в конце 1922 года. Над сапогами царила зеленоватая бекеша на золотом лисьем меху. Поднятый барашковый воротник, похожий с изнанки на стеганое одеяло, защищал от мороза молодецкую харю с севастопольскими полубаками. На голове Александра Ивановича помещалась прелестная курчавая папаха.

А в Москве в ту пору уже бегали новые моторы с хрустальными фонарями, двигались по улицам скоробогачи в котиковых ермолочках и **шубках**, подбитых **черным** мехом «**Лира**»; в моду входили остроносые готические штiblеты и портфели с чемоданными ремнями и ручками; **слово** «гражданин» начинало теснить привычное слово «товарищ»; какие-то молодые люди, быстро сообразившие, в чем именно заключается радость жизни, уже танцевали в ресторанах **уанстэп** «Дикси» и даже фокстрот «**Цветы солнца**»; **над** городом стоял крик лихачей, и в большом доме Наркоминдела портной Журкевич день и ночь строил фраки для отбывающих за границу советских дипломатов.

Александр Иванович с удивлением увидел, что его одеяние, считавшееся в провинции признаком мужественности и богатства, здесь, в Москве, является пережитком старины и бросает невыгодную тень на **самого** его обладателя.

Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов “Реванш”». Артель располагала двумя комнатами. В первой – висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной **кишкой**, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на **антресоль** и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова несло всхлипыванье, жидкость совершала свой обычный путь – из верхнего резервуара в нижний.

Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до **химикалиев**. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удешевленной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.

По прошествии года банки и тресты возымели желание узнать, насколько благотворно отразилась на развитии промартели «Реванш» оказанная ей финансовая и сырьевая помощь и не нуждается ли здоровый частник еще в каком-либо содействии. Комиссия, увешанная учеными бородами, прибыла в артель «Реванш» на трех пролеточках. В пустой конторе председатель комиссии долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и **долго** стучал палкой по еловому прилавку, вызывая руководителей и членов артели. Наконец дверь производственного помещения растворилась, и перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром в руке.

Из разговора с юным представителем «Реванша» выяснилось, что производство находится на полном ходу и что хозяин уже неделю не приходит. В производственном помеще-

нии комиссия пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клистирной кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала обыкновенную воду, каковой в действительности и являлась. Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал «гм» и посмотрел на членов, которые тоже сказали «гм». Потом председатель с ужасной улыбкой взглянул на мальчика и спросил:

– А кой тебе годик?

– Двенадцатый миновал, – ответил мальчик.

И залился такими **рыданиями**, что члены комиссии, толкаясь, выбежали на улицу и, разместившись на пролеточках, уехали в полном смущении. Что же касается артели «Реванш», то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на **Счет Прибылей и Убытков** и именно в тот раздел этого **Счета**, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам.

В тот самый день, когда комиссия вела многозначительную беседу с мальчиком в конторе «Реванша», Александр Иванович Корейко высадился из спального вагона прямого сообщения в небольшой виноградной республике, отстоявшей от Москвы на три тысячи километров.

Он растворил окно в номере гостиницы и увидел городок в оазисе с бамбуковым водопроводом, с дрянной глиняной крепостью, городок, отгороженный от песков тополями и полный азиатского шума.

На другой же день он узнал, что республика начала строить электрическую станцию. Узнал он также, что денег постоянно не хватает и постройка, от которой зависит будущее республики, может остановиться.

И здоровый частник решил помочь республике. Он снова погрузился в оранжевые сапоги, надел тубетейку и, захватив пузатый портфель, двинулся в управление строительством.

Его встретили не особенно ласково; но он вел себя весьма достойно, ничего не просил для себя и напирал главным образом на то, что идея электрификации отсталых окраин чрезвычайно близка его сердцу.

– Вашему строительству, – говорил он, – не хватает денег. Я их достану.

И он предложил организовать при строительстве электростанции доходное подсобное предприятие.

– Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.

Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.

Сперва понадобились оборотные средства. Их пришлось взять из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег в республике не было.

– Ничего, – утешал он строителей, – запомните: с этой минуты вы будете только получать.

Александр Иванович верхом на лошади проинспектировал ущелье, где уже возвышались бетонные параллелепипеды будущей станции, и одним взглядом оценил живописность порфировых скал. За ним на линейке прикатали в ущелье фотоаппараты. Они окружили строительство суставчатыми, голенастыми штативами, спрятались под черные шали и долго шелкали затворами. Когда все было заснято, один из фотографов спустил шаль **на плечи** и рассудительно сказал:

– Лучше, конечно, было бы строить эту станцию левее, на фоне монастырских руин, там гораздо живописнее.

Для печатания открыток решено было как можно скорее выстроить собственную типографию. Деньги, как и в первый раз, были взяты из строительных средств. Поэтому на электрической станции пришлось свернуть некоторые работы. Но все утешались тем, что барыши от нового предприятия позволят нагнать упущенное время.

Типографию строили в том же ущелье, напротив станции. И вскоре неподалеку от бетонных параллелепипедов станции появились бетонные параллелепипеды типографии. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпич и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. Затем легкий переход через ущелье совершили и рабочие – на новой постройке больше платили.

Через полгода на всех железнодорожных остановках появились агенты-распространители в полосатых штанах. Они торговали открытками, изображавшими скалы виноградной республики, среди которых шли грандиозные работы. В летних садах, театрах, кино, на пароходах и курортах барышни-овечки вертели застекленные барабаны благотворительной лотереи. Лотерея была беспроигрышная – каждый выигрыш являл собою открытку с видом электрического ущелья.

Слова Корейко сбылись – доходы притекали со всех сторон. Но Александр Иванович не выпускал их из своих рук. Четвертую часть он брал себе по договору, столько же присваивал, ссылаясь на то, что еще не от всех агентских караванов поступила отчетность, а остальные средства употреблял на расширение благотворительного комбината.

– Нужно быть хорошим хозяином, – тихо говорил он, – сначала как следует поставим дело, тогда-то появятся настоящие доходы.

К этому времени экскаватор «**Маршан**», снятый с электростанции, рыл глубокий котлован для нового типографского корпуса. Работа на электростанции прекратилась. Строительство обезлюдело. Возились там одни лишь фотографии и мелькали черные шали.

Дело расцвело, и Александр Иванович, с лица которого не сходила честная советская улыбка, приступил к печатанию открыток с портретами киноартистов.

Как водится, однажды вечером, на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света, здание подсобного предприятия и задал стрекача.

– Гм, – сказал председатель **комиссии**, ковыряя палкой в трещинах фундамента. – Где же электростанция?

И он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали «гм». Электростанции не было.

Зато в здании типографии комиссия застала работу в полном разгаре. Сияли лиловые лампы, и плоские печатные машины озабоченно хлопали крыльями. Три из них выпекали ущелье в одну краску, а из четвертой, многокрасочной, словно карты из рукава шулера, вылетали открытки с портретами Дугласа Фербенкса в черной полумаске на толстой самоварной морде, очаровательной Лиа де Путти и славного малого с вытаращенными глазами, известного под именем Монти Бенкса.

И долго еще после этого памятного вечера в ущелье под открытым небом шли показательные процессы. А Александр Иванович прибавил к своему капиталу полмиллиона рублей.

Его маленькие злые пульсы по-прежнему нетерпеливо бились. Он чувствовал, что именно сейчас, когда старая хозяйственная система сгинула, а новая только **начинала** жить, можно составить великое богатство. Но уже знал он, что открытая борьба за обогащение в **советской** стране немыслима. И с улыбкой превосходства он глядел на **жалкие остатки нэпманов**, догнивающих под вывесками: «Торговля товарами камвольного треста Б. А. Лей-

бедев», «Парча и утварь для церквей и клубов» или «Бакалейная лавка Х. Робинзон и М. Пятница».

Под нажимом государственного прессы трещит финансовая база и Лейбедева, и Пятницы, и владельцев музыкальной **лже-артели** «Там бубна звон».

Корейко понял, что сейчас возможна только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу; все, на чем государство теряло, приносило ему доход. Он прорывался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч. Он торговал хлебопродуктами, сукнами, сахаром, текстилем, всем. И он был один, совершенно один со своими миллионами. В разных концах страны на него работали большие и малые пройдохи, но они не знали, на кого работают. Корейко действовал только через подставных лиц. И лишь сам знал длину цепи, по которой шли к нему деньги.

Ровно в двенадцать часов Александр Иванович отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее. Потом он проглотил холодное яйцо всмятку. Холодные яйца всмятку – еда очень невкусная. **И** хороший веселый человек никогда их не станет есть. Но Александр Иванович не ел, а питался. Он не завтракал, а совершал физиологический процесс введения в организм должного количества жиров, углеводов и витаминов.

Все геркулесовцы увенчивали свой завтрак чаем; Александр Иванович **выпил** стакан **белого** кипятку вприкуску. Чай возбуждает излишнюю деятельность сердца, а Корейко дорожил своим здоровьем.

Обладатель десяти миллионов походил на боксера, расчетливо **подготавливающего** свой триумф. Он подчиняется специальному режиму, не пьет и не курит, старается избегать волнений, тренируется и рано ложится спать; все для того, чтобы в назначенный день выскочить на сияющий ринг счастливым победителем. Александр Иванович хотел быть молодым и свежим в тот день, когда все возвратится к старому и он сможет выйти из подполья, безбоязненно раскрыв свой обыкновенный чемоданишко. В том, что старое вернется, Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма.

И чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за пределы сорокашестирублевого **жалования**, которое получал за жалкую и нудную работу в финсметном отделе, расписанном менадами, дриадами и наядами.

Глава шестая. Антилопа-гну

Зеленый ящик с четырьмя жуликами скачками понесся по дымной дороге.

Машина подвергалась давлению таких же сил стихии, какие испытывает на себе пловец, купающийся в штормовую погоду. Ее внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью.

– Послушайте, студент, – обратился Остап к новому пассажиру, который уже оправился от недавнего потрясения и беззаботно сидел рядом с командором, – как же вы посмели нарушить **Сухаревскую** конвенцию, этот почтенный пакт, утвержденный трибуналом Лиги **Наций**.

Паниковский притворился, что не слышит, и даже отвернулся в сторону.

– И вообще, – продолжал Остап, – у вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены: **за** вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся.

– Жалкие, ничтожные люди, – сердито забормотал Паниковский.

– Вот как? – сказал Остап. – А себя вы считаете, очевидно, врачом-общественником? Джентльменом? Тогда вот что: если вам, как истому джентльмену, взбредет на мысль делать записи на манжетах, вам придется писать мелом.

– Почему? – раздраженно спросил новый пассажир.

– Потому что они у вас совершенно черные. Не от грязи ли?

– Вы жалкий, ничтожный человек! – быстро заявил Паниковский.

– И это вы говорите мне, своему спасителю? – кротко спросил Остап. – Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. Благодарю вас. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво.

Балаганов не понял, что означает «статус-кво». **Но** ориентировался на интонацию, с какой эти слова были произнесены: гадливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу.

– Студент, идите **обратно** в Арбатов, – сухо сказал Остап, – там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны. Едем.

– Я больше не буду! – взмолился Паниковский. – Я нервный!

– Станьте на колени, – сказал Остап.

Паниковский так поспешно опустился на колени, словно ему подрубили ноги.

– Хорошо, – **сказал** Остап, – **ваша** поза меня удовлетворяет. Вы приняты условно, до первого нарушения дисциплины, с возложением на вас обязанностей прислуги за все.

Антилопа-Гну приняла присмирившего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как погребальная колесница.

Через полчаса машина свернула на большой Новозайцевский тракт и, не уменьшая хода, въехала в село. У бревенчатого дома, на крыше которого росла сучковатая и кривая радиомачта, собрался народ. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды. В руке безбородый держал листок бумаги.

– Товарищи! – сердито крикнул он. – Считаю торжественное заседание открытым. Позвольте, товарищи, считать эти аплодисменты...

Он, видимо, заготовил речь и уже заглядывал в бумажку, но, заметив, что машина не останавливается, не стал распространяться.

– Все в Автодор! – поспешно сказал он, глядя на поравнявшегося с ним Остапа. – Наладим серийное производство советских автомашин! Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!

И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая поздравительный гул толпы, выложил последний лозунг:

– **Автомобиль не роскошь**, а средство передвижения!

За исключением Остапа, все **антилоповцы** были несколько обеспокоены торжественной встречей. Ничего не понимая, они вертелись в машине, как воробушки в гнезде. Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, опасливо присел на корточки, так что глазам селян представилась только лишь грязная соломенная крыша его шляпы. Но Остап ничуть не смутился. Он снял фуражку с белым верхом и на приветствия отвечал гордым наклоном головы то вправо, то влево.

– Улучшайте дороги! – закричал он на прощание. – Мерси за прием!

И машина снова очутилась на белой дороге, рассекавшей большое тихое поле.

– Они за нами не погонятся? – озабоченно спросил Паниковский. – Почему толпа? Что случилось?

– Просто люди никогда не видели автомобиля, – сказал Балаганов.

– Обмен впечатлениями продолжается, – отметил Бендер. – **Слово** за водителем машины. Ваше мнение, Адам Казимирович?

Шофер подумал, пугнул звуками матчиша собаку, сдуру выбежавшую на дорогу, и высказал предположение, что толпа собралась по случаю храмового праздника.

– Праздники такого рода, – разъяснил водитель **Антилопы**, – часто бывают у селян.

– Да, – сказал Остап. – Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. Ах, дети, милые дети лейтенанта Шмидта, почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют разумное, доброе, вечное.

Остап вынул из кармана «Известия» и громким голосом прочел экипажу Антилопы заметку об автомобильном пробеге Москва – Самара – Москва.

– Сейчас, – самодовольно сказал он, – мы находимся на линии автопробега, приблизительно в полуторасти километрах впереди головной машины. Полагаю, что вы уже догадались, о чем я говорю?

Нижние чины Антилопы молчали. Паниковский расстегнул пиджак и почесал голую грудь под грязным шелковым галстуком.

– Значит, вы не поняли? Как видно, в некоторых случаях не помогает даже чтение газет. Ну, хорошо, выскажусь более подробно, хотя это и не в моих правилах. Первое – крестьяне приняли **Антилопу** за головную машину автопробега. Второе – мы не отказываемся от этого звания. **Более** того, мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой оказать нам надлежащее содействие, **намекая** именно на то, что мы головная машина. Третье... Впрочем, хватит с вас и двух пунктов. Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди автопробега, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания.

Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура».

– Ну, хватит эмоций! – сказал Остап. – Ввиду наступления темноты объявляю вечер открытым. Стоп!

Машина остановилась, и усталые антилоповцы сошли на землю. В поспевающих хлебах кузнечики ковали свое маленькое счастье. Пассажиры **давно** уже уселись в кружок у самой дороги, а старая **Антилопа** все еще кипятилась: иногда сам по себе потрескивал кузов, иногда слышалось в моторе короткое бряканье.

Неопытный Паниковский развел такой большой костер, что казалось, горит целая деревня. Огонь, сопя, кидался во все стороны. Покуда путешественники боролись с огненным столбом, Паниковский, пригнувшись, убежал в поле и вернулся, держа в руке теплый кривой огурец. Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря:

– Не делайте из еды культа!

После этого он съел огурец сам. Поужинали колбасой, захваченной из дому хозяйственным Козлевицем, **заснули, осыпаемые звездной пылью**.

– Ну-с, – сказал на рассвете Остап Козлевичу, – приготовьтесь как следует, **такого** дня, какой предстоит сегодня, ваше механическое корыто еще не видело и никогда не увидит.

Балаганов схватил цилиндрическое ведро с надписью «Арбатовский родильный дом» и побежал за водой на речку. Адам Казимирович поднял капот машины, посвистывая, запустил руки в мотор и стал копать в его **стальных** кишечках. Паниковский оперся спиной на автомобильное колесо и, пригорюнившись, не мигая, смотрел на клюквенный солнечный сегмент, появившийся над горизонтом. У Паниковского оказалось морщинистое лицо со множеством старческих мелочей: мешочков, пульсирующих жилок, клубничных румянцев. Такое лицо бывает у человека, который прожил долгую порядочную жизнь, имеет взрослых детей, пьет по утрам здоровое кофе «Желудин» и пописывает в **учрежденческой** стенгазете под псевдонимом «Антихрист».

– Рассказать вам, Паниковский, как вы умрете? – неожиданно сказал Остап.

Старик вздрогнул и обернулся.

– Вы умрете так. Однажды, когда вы вернетесь в пустой, холодный номер гостиницы «Марсель» (это будет где-нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия), вы почувствуете себя плохо. У вас отнимется нога. **Голодным и небритым** вы будете лежать на деревянном топчане. **И** никто к вам не придет, Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы, **вероятно**, не родили из экономии, а жен **бросили**. Вы будете мучиться целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ – заведующий гостиницей – уже напишет отношение в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба... Как ваше имя и отчество?

– Михаил Самуэлевич, – ответил пораженный Паниковский.

– ... о выдаче бесплатного гроба для **гр.** М. С. Паниковского. Впрочем, не надо слез, годика два вы еще протянете. Теперь – к делу. Нужно позаботиться о культурно-агитационной стороне нашего похода.

Остап вынул из автомобиля свой акушерский саквояж и положил его на траву.

– Моя правая рука, – сказал великий комбинатор, похлопывая саквояж по толстенькому колбасному боку. – Здесь все, что только может понадобиться элегантному гражданину моих лет и моего размаха.

Бендер присел над чемоданчиком, как бродячий китайский фокусник над своим волшебным мешком, и одну за другой стал вынимать различные вещи. Сперва он вынул красную нарукавную повязку, на которой золотом было вышито слово «**распорядитель**». Потом на траву легла милицмейская фуражка с гербом города Киева, четыре колоды карт с одинаковой рубашкой и пачка документов с круглыми сиреневыми печатями.

Весь экипаж **Антилопы-Гну** с уважением смотрел на саквояж. А оттуда появлялись все новые предметы.

– Вы – голуби, – говорил Остап, – вы, конечно, никогда не поймете, что честный советский паломник-пилигрим, вроде меня, не может обойтись без докторского халата.

Кроме халата, в саквояже оказался и стетоскоп.

– Я не хирург, – заметил Остап, – **я** невропатолог, я психиатр. Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадают очень глупые души.

Затем на свет были извлечены: азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в **шалварах** и чалме. На афише было написано:

!!! ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ!!!

знаменитый бомбейский брамин (йог)

– сын Парвы –

Иоканаан Марусидзе

(заслуженный артист союзных республик)

номера по опыту Шерлока Холмса.

Индийский факир. – Курочка невидимка.–

Свечи с Атлантиды. – Адская палатка.–

Пророк Самуил отвечает на вопросы публики.–

Материализация духов и раздача слонов

Входные билеты от 50 к. до 2 р.

Грязная, захватанная руками чалма появилась вслед за афишей.

– Этой забавой я пользуюсь очень редко, – сказал Остап. – Представьте себе, что на жреца больше всего ловятся такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами. Работа легкая, но противная. Мне лично претит быть любимцем Рабиндраната Тагора. А пророку Самуилу задают одни и те же вопросы: «Почему в продаже нет животного масла?» или «Еврей ли вы?».

В конце концов Остап нашел то, что искал: жестяную лаковую коробку с медовыми красками в фарфоровых ванночках и две кисточки.

– Машину, которая идет в голове пробега, нужно украсить хотя бы одним лозунгом, – сказал Остап.

И на длинной полоске желтоватой бязи, извлеченной из того же саквояжа, он вывел печатными буквами коричневую надпись:

Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!

Плакат укрепили над автомобилем на двух хворостинах. Как только машина тронулась, плакат выгнулся под напором ветра и приобрел настолько лихой вид, что не могло быть больше сомнений в необходимости грохнуть автопробегом по бездорожью, разгильдяйству, а заодно, может быть, даже и по бюрократизму. Пассажиры **Антилопы** приосанились. Балаганов **натянул** на свою рыжую голову кепку, которую постоянно таскал в кармане. Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и выпустил их из-под рукавов на два сантиметра. Козлевич заботился больше о машине, чем о себе. Перед отъездом он вымыл ее водой, и на неровных боках **Антилопы** заиграло солнце. Сам командор весело шурился и задира л спутников.

– Влево по борту – деревня! – крикнул Балаганов, полочкой **приставляя** ладонь ко лбу. – Останавливаться будем?

– Позади нас, – сказал Остап, – идут пять первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Нам надо поскорей снимать сливки. Посему остановку назначаю в городе Удоеве. Там нас, кстати, должна поджидать бочка с горючим. Ходу, Казимирович!

– На приветствия отвечать? – озабоченно спросил Балаганов.

– Отвечать поклонами и улыбками. Ртов **попрошу** не открывать. Не то вы черт знает чего наговорите.

Деревня встретила головную машину приветливо. Но обычное гостеприимство **носило** довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то проедет, но кто проедет и с какой целью – не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами: «Привет Лиге Времени и ее основателю дорожному товарищу Керженцеву», «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона», «Чтоб дети **ваши** не угасли, пожалуйста, организуйте ясли». Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно **церковнославянским** шрифтом с одним и тем же приветствием: «Добро пожаловать!».

Все это живо пронеслось мимо путешественников. На этот раз они уверенно размахивали шляпами. Паниковский не удержался и, несмотря на запрещение, вскочил и выкрикнул невнятное, политически безграмотное приветствие. Но за шумом мотора и криками толпы никто ничего не разобрал.

– Гип, гип, ура! – закричал Остап.

Козлевич открыл глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от которого зачихали бежавшие за автомобилем собаки.

– Как с бензином? – спросил Остап. – До Удоева хватит? Нам только тридцать километров сделать. А там – все отнимем.

– Должно хватить, – с сомнением ответил Козлевич.

– Имейте в виду, – сказал Остап, строго оглядывая свое войско, – мародерства **я** не допущу. Никаких нарушений закона! Командовать парадом буду я.

Паниковский и Балаганов сконфузились.

– Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли.

Тридцать километров **Антилопа** пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все **эти** усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензину. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя ста метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов.

Собравшиеся с громкими криками **кинулись** навстречу прибывшему из мглы веков «**Лорен-Дитриху**». Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками и их во что бы то ни стало **надо** было вернуть к жизни.

Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского **вида** и спросил:

– Как остальные машины?

– Отстали, – равнодушно ответил Остап. – Проколы, поломки, энтузиазм населения. Все это задерживает.

– Вы в командорской машине? – не отставал шофер-любитель. – Клептунов с вами?

– Клептунова я снял с пробега, – сказал Остап недовольно.

– А профессор **Двуптих**? На «**Паккарде**»?

– На «**Паккарде**».

– А писательница Вера Круц? – любопытствовал полушофер. – Вот бы на нее посмотреть. На нее и на **Арапопорта**. Он тоже с вами?

– Знаете, – сказал Остап, – я утомлен пробегом...

– А вы на «**Студебеккере**»?

– Можете считать нашу машину «**Студебеккером**», – сказал Остап злобно, – но до сих пор она называлась «**Лорен-Дитрих**». Вы удовлетворены?

Но шофер-любитель удовлетворен не был.

– Позвольте, – воскликнул он с юношеской назойливостью, – но ведь в пробеге нет никаких «**Лорен-Дитрихов**». Я читал в газете, что идут два «**Паккарда**», два «**Фиата**» и один «**Студебеккер**».

– Идите к чертовой матери со своим «**Студебеккером**»! – заорал Остап. – Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку?! Русским языком ему говорят, что «**Студебеккер**» в последний момент заменен «**Лорен-Дитрихом**», а он морочит голову. «**Студебеккер**»! «**Студебеккер**»!

Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:

– Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «**Студебеккера**» ему подавай!

Делал он это с той целью, чтобы раз навсегда избавиться от опасных расспросов.

Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализацией пригвоздил детей **лейтенанта** к одному месту.

– Я рад, товарищи, – заявил Остап в ответной речи, – нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь!

Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам **Командора**, Козлевич развил обширную деятельность. Он наполнил бак бензином, который, как и говорил Остап, оказался высшей очистки, беззастенчиво захватил в запас три больших бидона горючего, переменял камеры и протекторы на всех четырех колесах, захватил помпу и даже домкрат. Этим он совершенно опустошил как базисный, так и операционный склады удоевского отделения Автодора.

Дорога до Черноморска была обеспечена материалами. Не было, правда, денег. Но это командора не беспокоило. В Удоеве путешественники прекрасно пообедали, **и деньги, в сущности, еще не были нужны.**

– О карманных деньгах не надо думать, – сказал Остап, – они валяются на дороге, и мы будем **их** подбирать по мере надобности.

Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали – тысяча лет и тысяча километров грунтовой и шоссейной дороги.

За эту тысячу лет на магистрали Удоев – Черное море появлялись различные фигуры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил Соловей-разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчиков выводил в расход. Брели по этой дороге завоеватели со своими дружинами, **приезжали** мужики, с песнями тащились странники.

Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовались оружие, **и** были усмирены картофельные бунты, **люди** научились брить бороды. Полетел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы – пароход и паровоз. Затрубили автомашины.

А дорога осталась такой же, какой она была при Соловье-разбойнике.

Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, – протянулась отечественная дорога мимо деревень, **городов**, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих, оскверненных травах валяются скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили.

Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа: в лужице сидит месяц, громко молятся сверчки, и позванивает пустое ведро, подвезанное к мужицкой телеге.

Но месячному свету дано уже другое **назначение**. Месяц сможет отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка. А сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках; там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого **сверчководы**, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых.

Глава седьмая. Сладкое бремя славы

Командор пробега, водитель машины, бортмеханик и прислуга за все чувствовали себя прекрасно.

Утро было прохладное. В жемчужном небе путалось бледное солнце. В травах кричала мелкая птичья сволочь. Дорожные птички «пастушки» медленно переходили дорогу перед самыми колесами автомобиля. Степные горизонты источали такие бодрые запахи, что, будь на месте Остапа какой-нибудь крестьянский писатель-середнячок из группы «Стальное вымя», не удержался бы он, вышел бы из машины, сел бы в траву и тут же на месте начал бы писать на листах походного блокнота новую повесть, начинающуюся словами: «Инда взопрели озимые. Рассупонилося солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился».

Но Остап и его спутники были далеки от поэтических восприятий. Вот уже сутки они мчались впереди автопробега. Их встречали музыкой и речами. Дети били для них в барабаны. Взрослые кормили их обедами и ужинами, снабжали заранее **приготовленными** авточастями, а в одном посаде поднесли **даже** хлеб-соль на дубовом резном блюде с полотенцем, вышитым крестиками. Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру. После **него** брезгливый Остап выкинул хлеб-соль на дорогу. Ночь антилоповцы провели в деревушке, окруженные заботами деревенского актива. Они увезли оттуда большой кувшин топленого молока и сладкое воспоминание об одеколонном запахе сена, на котором спали.

– Молоко и сено, – сказал Остап, когда **Антилопа** на рассвете покидала деревню, – что может быть лучше? Всегда думаешь – «Это я еще успею. Еще много будет в моей жизни молока и сена». А на самом деле никогда этого больше не будет. Так и знайте: это была лучшая ночь в **вашей** жизни, мои бедные друзья. А вы этого даже не заметили.

Спутники Бендера смотрели на него с уважением. Их приводила в восторг открывшаяся перед ними легкая жизнь.

– Хорошо жить на свете! – сказал Балаганов. – Вот мы едем, мы сыты! Может быть, нас ожидает счастье...

– Вы в этом твердо уверены? – спросил Остап. – Счастье ожидает **вас** на дороге? Может быть, еще машет крылышками от нетерпения? Где, **говорит, он**, адмирал Балаганов? Почему его так долго нет? Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку: «Ах, Америка – это страна, там гуляют и пьют без закуски». Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. А у вас, Балаганов, с этой деткой романа не выйдет. Вы оборванец. Посмотрите, на кого вы похожи? Человек в вашем костюме никогда не добьется счастья. Да и вообще весь экипаж **Антилопы** экипирован отвратительно. Удивляюсь, как это нас еще принимают за участников автопробега.

Остап с сожалением оглядел своих спутников и продолжал:

– Шляпа Паниковского меня решительно смущает. Вообще, он одет с вызывающей роскошью. Этот драгоценный зуб, эти кальсонные **тесемки**, эта волосатая грудь под галстуком. Проще надо одеваться, Паниковский. Вы почтенный старик. Вам **нужен глухой** черный сюртук и касторовая шляпа. Балаганову **подойдет** клетчатая ковбойская **рубашка** и кожаные краги. И он сразу же приобретет вид студента, занимающегося физкультурой. А сейчас он похож на уволенного за пьянство матроса торгового флота. О нашем уважаемом водителе я не говорю. Тяжелые испытания, ниспосланные судьбой, помешали ему одеться сообразно званию. Неужели вы не видите, как **подошел** бы к его одухотворенному, слегка испачкан-

ному маслом лицу кожаный комбинезон и хромовый черный картуз. Да, **девушки**, вам надо экипироваться.

– Денег нет, – сказал Козлевич, оборачиваясь.

– Шофер прав, – любезно **отметил** Остап, – денег действительно нет. Нет этих маленьких металлических кружочков, кои я так люблю.

Антилопа-Гну скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины. Большая рыжая сова сидела у самой дороги, склонив голову набок и глупо вытаращив желтые незрячие глаза. Встревоженная скрипом **Антилопы**, птица выпустила крылья, **вспорхнула** над машиной и вскоре улетела по своим скучным совиным делам. Больше ничего заслуживающего внимания на дороге не произошло.

– Смотрите, – закричал вдруг Балаганов, – **автомобиль!**

Остап на всякий случай распорядился убрать плакат, увещевавший граждан ударить автопробегом по разгильдяйству. Покуда Паниковский выполнял приказ, **Антилопа** приблизилась к встречной машине.

Закрытый серый «**Кадиллак**», слегка накренившись, стоял у края дороги. Среднерусская природа, отражавшаяся в его толстых полированных стеклах, выглядела чище и красивее, чем была в действительности. Коленопреклоненный шофер снимал крышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто.

– Терпите бедствие? – спросил Остап, вежливо **приподымая** фуражку.

Шофер поднял напряженное лицо и, ничего не ответив, снова углубился в работу.

Антилоповцы вылезли из своего зеленого тарантаса. Козлевич несколько раз обошел кругом чудесную машину, завистливо вздыхая, присел на корточки рядом с шофером и вскоре завел с ним специальный разговор. Паниковский и Балаганов с детским любопытством разглядывали пассажиров, из которых двое имели весьма надменный заграничный вид. Третий, судя по одуряющему калошному запаху, исходившему от его резинокостровского плаща, был соотечественник.

– Терпите бедствие? – повторил Остап, деликатно прикоснувшись к резиновому плечу соотечественника и в то же время устремив задумчивый взгляд на иностранцев.

Соотечественник раздраженно заговорил о лопнувшей шине, но его бормотание пролетело мимо ушей Остапа. На большой дороге, в **130** километрах от ближайшего окружного центра, в самой середине Европейской России прогуливались у своего автомобиля два толстенных заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора.

– Скажите, – перебил он, – эти двое не из Рио-де-Жанейро?

– Нет, – ответил соотечественник, – они из Чикаго. А **я переводчик** из «Интуриста».

– **Что** же они здесь делают, на распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы, от балета «Красный мак», от антикварных магазинов и знаменитой картины художника Репина «Иван Грозный убивает своего сына-**двурушника**»? Не понимаю! Зачем вы их сюда завезли?

– А ну их к черту! – со скорбью сказал переводчик. – Третий день уже носимся по деревням как угорелые! Замучили меня совсем. Много я имел дела с иностранцами, но таких еще не видел.

И он махнул рукой в сторону своих румяных спутников.

– Все туристы как туристы. **Носятся** по Москве, покупают в кустарных магазинах деревянные братины, а эти двое отбились. Стали по деревням ездить.

– Это похвально, – сказал Остап, – **широкие** массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни!

Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой автомобиля. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и красные матовые башмаки.

Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул:

– Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня.

При слове «самогон», которое переводчик произнес с ударением, джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.

– Вот видите! – сказал переводчик. – Слова этого спокойно слышать не могут.

– Да. Тут какая-то тайна, – сказал Остап. – **Или** извращенные вкусы. Не понимаю, как можно любить самогон, когда в нашем отечестве имеется большой выбор благородных крепких напитков.

– Все это гораздо проще, чем вам кажется, – сказал переводчик, – **они** ищут рецепт **изготовления** хорошего самогона.

– Ну конечно! – закричал Остап. – Ведь у них **сухой закон**. Все понятно. Достали рецепт? Ах, не достали? Ну, да. Вы бы еще на трех автомобилях приехали! Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепта, смею вас уверить.

Переводчик стал жаловаться на иностранцев.

– Поверите ли, на меня стали бросаться. **Расскажи**, да расскажи, **в чем** секрет самогона. А я не самогонщик! Я член союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама.

– А вам очень хочется обратно в Москву, **к маме**?

Переводчик жалобно вздохнул.

– В таком случае заседание продолжается! – промолвил Бендер. – Сколько дадут ваши шефы за рецепт? Полторада дадут?

– Дадут двести, – зашептал переводчик. – А у вас в самом деле есть рецепт?

– Сейчас же вам продиктую, то есть, сейчас же по получении денег. Какой угодно: картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши, **даже** из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую **кишмишевку** или сливянку. Одним словом – любой из полторада самогонов, рецепты которых мне известны.

Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Ходоки заверили Остапа, что при американской **технологии** изготовить такой аппарат не представляет никакого труда. Остап, со своей стороны, заверил американцев, что аппарат его конструкции дает в день ведро прелестного ароматного первача.

– О! – закричали американцы. – **Pervatch! Pervatch!**

Они уже слышали это слово в одной **знакомой** почтенной семье из Чикаго. И там о **pervatch'e** были даны прекрасные референции. Глава этого семейства был в свое время с американским оккупационным корпусом в Архангельске, пил там **pervatch** и с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он при этом испытал.

В устах разомлевших туристов грубое слово **первач** звучало нежно и заманчиво.

Американцы легко отдали двести рублей и долго трясли руку Бендера. Паниковскому и Балаганову тоже удалось попрощаться за руку с гражданами заатлантической республики, измученными **сухим законом**. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.

Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Козлевич на прощание сыграл матчиш, и под его веселые звуки автомобили разлетелись в противоположные стороны.

– Видите, – сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью. – **Все** произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились.

И он затрещал пачкой кредиток.

– Собственно говоря, хвастаться нечем, комбинация простенькая. Но опрятность, честность – вот что дорого. Двести рублей! В пять минут! И я не только не нарушил законов, но даже **всем** сделал приятное. Экипаж **Антилопы** снабдил денежным довольствием. Старухе-маме возвратил сына-переводчика. И, наконец, утолил духовную жажду граждан страны, с которой мы, как-никак, имеем торговые связи.

Подходило время обеда. Остап углубился в карту пробега, вырванную им из автомобильного журнала, и возвестил приближение города Лучанска.

– **Городок** очень маленький, – сказал Бендер, – это плохо. Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи. **Потому** попросим у любезных хозяев города обед на первое, а речи на второе. В антракте я снабжу вас вещевым довольствием. Паниковский! Вы начинаете забывать свои обязанности! Восстановите плакат на прежнем месте.

Понаторевший в торжественных финишах Козлевич лихо осадил машину перед самой трибуной. Здесь Бендер ограничился кратким приветствием. Условились перенести митинг на два часа. Подкрепившись бесплатным обедом, автомобилисты в приятнейшем расположении духа двинулись к магазину готового платья. Их окружали любопытные. Антилоповцы с достоинством несли свалившееся на них сладкое бремя славы. Они шли посреди улицы, держась за руки и раскачиваясь, словно матросы в чужеземном порту. Рыжий Балаганов, и впрямь похожий на молодого боцмана, затянул морскую песню.

Магазин «Платье мужское, дамское и детское» помещался под огромной вывеской, занимавшей весь двухэтажный дом. На вывеске были намалеваны десятки фигур: желтолицые мужчины с тонкими усиками, в шубах с отвернутыми наружу хорьковыми полами, дамы с муфтами в руках, коротконогие дети в матросских костюмчиках, комсомолки в красных косынках и сумрачные хозяйственники, погруженные по самые бедра в фетровые сапоги.

Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную у входной двери магазина:

Штанов нет.

– Фу, как грубо! – сказал Остап, входя. – **Сразу** видно, что провинция. Написали бы, как пишут в Москве: «Брюк нет». Прилично и благородно. Граждане довольные расходятся по домам. **А тут – «штанов нет».**

В магазине автомобилисты задержались недолго. Для Балаганова нашлась ковбойская рубашка в просторную канареечную клетку и стетсоновская шляпа с дырочками. Козлевичу пришлось **удовольствоваться** обещанным хромовым картузом и такой же тужуркой, сверкающей, как прессованная икра. Долго возились с Паниковским. Пасторский долгополый сюртук и мягкая шляпа, которые, по замыслу Бендера, должны были облагородить внешность нарушителя конвенции, отпали в первую же минуту. Магазин мог предложить только костюм пожарного: куртку с золотыми насосами в петлицах и волосатые полушерстяные брюки и фуражку с синим кантом. Паниковский долго **ломался и** прыгал перед волнистым зеркалом.

– Не понимаю, – сказал **наконец** Остап, – чем вам не нравится костюм пожарного? Он все-таки лучше, чем костюм короля в изгнании, который вы теперь носите. А ну, поворотитесь-ка, сынку! Отлично! Скажу вам прямо. Это подходит вам больше, чем **запроектированный** мною сюртук и шляпа.

На улицу вышли в новых нарядах. **Себе Остап ничего не купил.**

– Мне нужен смокинг, – сказал **он**, – но здесь его нет. Подождем до лучших времен.

Не так ли, друг брандмейстер?

Остап открыл митинг в приподнятом настроении, не подозревая о том, какая гроза надвигается на пассажиров **Антилопы**. Он острил, рассказывал смешные дорожные приключения и еврейские анекдоты, чем чрезвычайно расположил к себе публику. Конец речи он посвятил разбору давно назревшей автопроблемы.

– Автомобиль, – воскликнул он трубным голосом, – не роскошь, а...

В эту минуту он увидел, что председатель комиссии по встрече принял из рук подбежавшего мальчика телеграмму. Произнося слова: «не роскошь, а средство передвижения», Остап склонился влево и через плечо председателя заглянул в телеграфный бланк. То, что он прочел, поразило его. Он думал, что впереди еще целый день. Его сознание мгновенно зарегистрировало ряд деревень и городов, где **Антилопа** воспользовалась чужими **матерьялами** и средствами.

Председатель еще шевелил усами, силясь вникнуть в содержание депеши, а Остап, на полуслове спрыгнувший с трибуны, уже продирался сквозь толпу. **Антилопа** зеленела на перекрестке. К счастью, пассажиры сидели на местах и, скучая, ждали того момента, когда Остап велит перетаскивать в машину дары города. Это обычно бывало после митинга.

Наконец до председателя дошел смысл телеграммы. Он поднял глаза и увидел убегающего командора.

– Это жулики! – закричал он **страдальческим голосом**.

Он всю ночь трудился над составлением приветственной речи, и теперь его авторское самолюбие было уязвлено.

– Хватай их, ребята!

Крик председателя достиг ушей антилоповцев. Они нервно засуетились. Козлевич пустил мотор и одним махом взлетел на свое сиденье. Машина прыгнула вперед, не дожидаясь Остапа. Впопыхах антилоповцы даже не сообразили, что оставляют своего командора в опасности.

– Стой! – кричал Остап, делая гигантские прыжки. – Догоню – всех уволю!

– Стой! – кричал председатель, **адресуясь к Бендеру**.

– Стой, дурак! – кричал Балаганов Козлевичу. – Не видишь, шефа потеряли!

Адам Казимирович нажал педали. **Антилопа** заскрежетала и остановилась. Командор кувыркнулся в машину с отчаянным криком: «Полный ход!». Несмотря на разносторонность и хладнокровие своей натуры, он терпеть не мог физической расправы. Обезумевший Козлевич перескочил на третью скорость, машина рванулась, и в открывшуюся дверцу выпал Балаганов. Все это произошло в одно **мгновение**. Пока Козлевич снова тормозил, на Балаганова уже пала тень набегающей толпы. Уже протягивались к нему здоровеннейшие ручищи, когда задним ходом подобралась к нему **Антилопа**, и железная рука командора ухватила его за ковбойскую рубаху.

– Самый полный! – завопил Остап.

И тут жители Лучанска впервые поняли преимущество механического транспорта перед гужевым. Машина забренчала всеми своими частями и быстро унеслась, увозя от справедливого наказания четырех правонарушителей.

Первый километр жулики тяжело дышали. Дороживший своей красотой Балаганов рассматривал в **карманном** зеркальце малиновые царапины на лице, полученные при падении. Паниковский дрожал в своем костюме пожарного. Он боялся мести командора. И она пришла немедленно.

– Это вы погнали машину, прежде, чем я успел сесть? – спросил командор грозно.

– Ей-богу... – начал Паниковский.

– Нет, нет, не отпирайтесь. Это ваши шутики. Значит, вы еще и трус к тому же? Я попал в одну компанию с вором и трусом? Хорошо! Я вас разжалую. До сих пор вы в моих глазах были брандмейстером. Отныне вы – простой топорник.

И Остап торжественно содрал с красных петличек Паниковского золотые насосы.

После этой процедуры Остап познакомил своих спутников с содержанием телеграммы.

– Дело плохо! В телеграмме предлагается задержать зеленую машину, идущую впереди автопробега. Надо сейчас же свернуть куда-нибудь в сторону. Хватит с нас триумфов, пальмовых ветвей и бесплатных обедов на постном масле. Идея себя изжила. Свернуть мы можем только на Гряжское шоссе. Но до него еще часа три пути. Я уверен, что горячая встреча готовится во всех ближайших населенных пунктах. Проклятый телеграф всюду **понатыкал** свои столбы с проволоками. **Паниковский! Берегите свою черепную лоханку!**

Командор не ошибся.

В первой же деревне им предложили остановиться. Козлевич усилил ход. Несколько сажен за ними на неоседланной кобыле вяло скакал рослый веселый парень, по-видимому, деревенский милиционер, и что-то кричал.

Дальше на пути лежал городок, названия которого антилоповцы так никогда и не узнали, но хотели бы узнать, чтобы помянуть его при случае недобрым словом. У самого же входа в город дорога была преграждена тяжелым бревном. **Антилопа** повернула и, как слепой щенок, стала тыкаться в стороны в поисках обходной дороги. Но ее не было.

– Пошли назад! – сказал Остап, ставший очень серьезным.

И тут **же** жулики услышали очень далекое комариное **пение** моторов. Как видно, шли машины настоящего автопробега. Назад двигаться было нельзя, и антилоповцы снова кинулись вперед.

Козлевич нахмурился и быстрым ходом подвел машину к самому бревну. Граждане, стоявшие вокруг, испуганно отхлынули в разные стороны, ожидая катастрофы. Но Козлевич неожиданно уменьшил ход и медленно **перевалился** через препятствие. Когда **Антилопа пересекала** город, прохожие сварливо ругали седоков, но Остап, **обычно восприимчивый ко всякого рода оскорблениям, даже** не отвечал.

К Гряжскому шоссе **Антилопа** подошла под все усиливающийся рокот невидимых покуда автомобилей. Едва **только** успели свернуть с проклятой магистрали и в наступившей темноте убрать машину за пригорок, как раздались взрывы и пальба моторов и в столбах света показалась головная машина. Жулики притаились в траве у самой дороги и, внезапно потеряв обычную наглость, молча смотрели на проходящую колонну.

Полотнища **ослепляющего** света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины.

Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями. Искателям приключений остался только бензиновый хвост. И долго еще сидели они в траве, чихая и отряхиваясь.

– Да, – сказал Остап. – **Теперь** я и сам вижу, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Вам не завидно, Балаганов? Мне завидно!

Глава восьмая. Кризис жанра

В четвертом часу **ночи** затравленная **Антилопа** остановилась над обрывом. Внизу на тарелочке лежал незнакомый город. Он был нарезан аккуратно, как торт. Разноцветные утренние пары носились над ним. Еле уловимый треск и легчайшее посвистывание почудились спешившимся антилоповцам. Очевидно, это храпели граждане. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва.

– Райская долина, – сказал Остап. – Такие города приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь.

– Сейчас как раз раннее утро, – заметил Паниковский, лстиво заглядывая в глаза командора.

– Молчать, золотая рота! – закричал Остап. – Вот неугомонный старик! Шутки не понимает!

– Что делать с **Антилопой**? – спросил Козлевич.

– Да, – сказал Остап, – в город на этой зеленой лоханке **не** въедешь. Арестуют. Придется стать на путь наиболее передовых стран. В Рио-де-Жанейро, например, краденые автомобили перекрашивают в другой цвет. Делается это из чисто гуманных побуждений – дабы прежний хозяин не огорчился, видя, что на его машине разъезжает посторонний человек. **Антилопа** снискала себе кислую славу, ее нужно перекрасить.

Решено было войти в город пешим порядком и достать красок, а для машины подыскать надежное убежище за городской чертой.

Остап быстро пошел по дороге вдоль обрыва и вскоре увидел косой бревенчатый домик, маленькие окошечки которого поблескивали речною синевой. Позади домика стоял сарай, показавшийся **Остапу** подходящим для сокрытия **Антилопы**.

Пока великий комбинатор размышлял о том, под каким предлогом удобнее всего проникнуть в домик и сдружиться с его обитателями, дверь отворилась и на крыльцо выбежал почтенный господин в солдатских подштанниках с черными жестяными пуговицами. На бледных парафиновых щеках его помещались приличные седые бакенбарды. Подобная физиономия в конце прошлого века была бы заурядной. В то время большинство мужчин **выращивали** на лице такие вот казенные, верноподданные волосяные приборы. Но сейчас, когда под бакенбардами не было ни синего вицмундира, ни штатского **ордена** с муаровой ленточкой, ни петлиц с золотыми звездами тайного советника, – это лицо казалось ненатуральным.

– О, господи! – зашамкал обитатель бревенчатого домика, протягивая руки к восходящему солнцу. – Боже, боже! Все те же сны! Те же самые сны!

Произнеся эту жалобу, старик заплакал и, шаркая ногами, побежал по тропинке вокруг дома. Обыкновенный петух, собиравшийся в эту минуту пропеть в третий раз, вышедший для этой цели на середину двора и **уже раскрывший рот, в испуге** кинулся прочь; сгоряча он сделал несколько поспешных шагов и даже уронил перо, но вскоре опомнился, вылез на плетень и уже с этой безопасной позиции сообщил миру о наступлении утра. Однако в голосе его чувствовалось волнение, вызванное недостойным поведением хозяина домика.

– Снятся, проклятые! – донесся до Остапа голос старика.

Бендер удивленно разглядывал странного человека с бакенбардами, которые можно найти теперь разве только на министерском лице швейцара консерватории.

«Что это за рак-отшельник?» – подумал Остап.

Между тем необыкновенный господин завершил свой круг и снова появился у крыльца. Здесь он помедлил и со словами – «Пойду попробую еще раз» – скрылся за дверь.

– Люблю стариков, – прошептал Остап, – с ними никогда не соскучишься. Придется подождать результатов таинственной пробы.

Ждать Остапу пришлось недолго. Вскоре из домика послышался плачевный вой, и, пятась задом, как Борис Годунов в последнем акте оперы Мусоргского, на крыльцо вывалился старик.

– Чур меня, чур! – воскликнул он с шалашинскими интонациями в голосе. – Все тот же сон! А-а-а!

Он повернулся и, спотыкаясь о собственные ноги, пошел прямо на Остапа. Решив, что пришло время действовать, великий комбинатор выступил из-за дерева и подхватил бакенбардиста в свои могучие объятия.

– Что? Кто? Что такое? – закричал беспокойный старик. – Что?

Остап осторожно разжал объятия, схватил старика за руку и сердечно ее потряс.

– Я вам сочувствую! – воскликнул он.

– Правда? – спросил хозяин домика, приняв к плечу Бендера.

– Конечно, правда. – ответил Остап. – Мне самому часто снятся сны.

– А что вам снится?

– Разное.

– А какое все-таки? – настаивал старик.

– Ну, разное. Смесь. То, что в газете называют «Отовсюду обо всем» или «Мировой экран». Позавчера мне, например, снились похороны микадо, а вчера – юбилей Суцеской пожарной части.

– Боже! – произнес старик. – Боже! Какой вы счастливый человек! Какой счастливый! Скажите, а вам никогда не снился какой-нибудь генерал-губернатор или... даже министр?

Бендер не стал упрячиться.

– Снился, – весело сказал он. – Как же? Генерал-губернатор. В прошлую пятницу. Всю ночь снился. И, помнится, рядом с ним еще полицмейстер стоял, в узорных шальварах.

– Ах, как хорошо, – сказал старик. – А не снился ли вам приезд государя-императора в город Кострому?

– В Кострому? Было такое **сновиденье**. Позвольте, когда же это, **ну** да, 3 февраля сего года. Государь-император, а рядом с ним, помнится, еще граф Фредерикс стоял, такой, знаете, министр двора?

– Ах ты, господи! – **заволновался** старик. – Что ж это мы здесь стоим. Милости просим ко мне. Простите, вы не социалист? Не партиец?

– Ну, что вы! – добродушно сказал Остап. – Какой же я партиец? Я беспартийный монархист. Слуга царю, отец солдатам. В общем, взвейтесь, соколы, орлами, полно горевать!..

– Чайку, чайку не угодно ли? – бормотал старик, подталкивая Бендера к **дверям**.

В домике оказалась одна комната с сениями. На **бревенчатых** стенах висели портреты господ в форменных сюртуках. Судя по петлицам, господа эти служили в свое время по министерству народного просвещения. Постель имела беспорядочный вид и свидетельствовала о том, что хозяин проводил на ней самые беспокойные часы своей жизни.

– И давно вы живете таким анахоретом? – спросил Остап.

– С весны, – ответил старик. – Моя фамилия – Хворобьев. Здесь, думал я, начнется новая жизнь. А ведь что вышло? Вы только поймите!..

Федор Никитич Хворобьев был монархистом и ненавидел советскую власть. Эта власть была ему противна. Он, когда-то попечитель учебного округа, принужден был служить заведующим методологическо-педагогическим сектором местного Пролеткульта. Это вызывало в нем отвращение.

До самого конца своей службы он не знал, как расшифровать слово **Пролеткульт**, и от этого презирал его еще больше. Дрожь омерзения вызывали в нем одним своим видом члены месткома, сослуживцы и посетители методологическо-педагогического сектора. Он возненавидел слово **сектор**. О, этот сектор! Никогда Федор Никитич, ценивший все изящное, а в том числе и геометрию, не предполагал, что это прекрасное математическое понятие, обозначающее часть площади криволинейной фигуры, будет так опошлено.

На службе Хворобьева бесило многое: заседания, стенгазеты, займы. Но и дома он не находил успокоения своей гордой душе. Дома тоже были стенгазеты, займы, заседания. Знакомые говорили исключительно о хамских, по мнению Хворобьева, вещах: о **жаловании**, которое они называли зарплатой, о месячнике помощи детям и о социальной значимости пьесы «Бронепоезд».

Никуда нельзя было уйти от советского строя. Когда огорченный Хворобьев одиноко прогуливался по улицам города, то и здесь из толпы гуляющих вылетали постылые фразы:

«... Тогда мы постановили вывести его из состава правления...»

«... А я так и сказал: на ваше РКК примкамера есть, примкамера...»

И, тоскливо поглядывая на плакаты, призывающие граждан выполнить пятилетку в четыре года, Хворобьев с раздражением повторял:

– Вывести! Из состава! Примкамера! В четыре года! Хамская власть!

Когда методологическо-педагогический сектор перешел на непрерывную неделю и, вместо чистого **воскресения**, днями отдыха Хворобьева стали какие-то фиолетовые пятые числа, он с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко за городом. Он поступил так для того, чтобы уйти от новой власти, которая завладела его жизнью и лишила покоя.

По целым дням просиживал монархист-одиночка над обрывом и, глядя на город, старался думать о приятном: о молебнах по случаю тезоименитства какой-нибудь высочайшей особы, о гимназических экзаменах и о родственниках, служивших по министерству народного просвещения. Но, к удивлению, мысли его сейчас же перескакивали на советское, неприятное.

«Что-то теперь делается в этом проклятом Пролеткульте?» – думал он.

После Пролеткульта вспоминались ему совершенно уже возмутительные эпизоды: демонстрации первомайские и октябрьские, клубные семейные вечера с лекциями и пивом, полугодовая смета методологического сектора.

– Все отняла у меня советская власть, – думал бывший попечитель учебного округа, – чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли! Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. **Это** сны, ниспосланные человеку богом. Ночь принесет мне успокоение. В своих снах я увижу то, что мне будет приятно увидеть!

В первую же после этого ночь бог **прислал** Федору Никитичу ужасный сон. Снилось ему, что он сидит в **учрежденческом** коридоре, освещенном керосиновой лампочкой. Сидит и знает, что его с минуты на минуту должны вывести из состава правления. Внезапно открывается железная дверь, и оттуда выбегают служащие с криком: «Хворобьева нужно нагрузить!» Он хочет бежать, но не может.

Федор Никитич проснулся среди ночи. Он помолился богу, указав ему, что, как видно, произошла досадная неувязка, и сон, предназначенный для ответственного, быть может, даже партийного, товарища, попал не по адресу. Ему, Хворобьеву, хотелось бы увидеть для начала царский выход из Успенского собора.

Успокоенный, он снова заснул, но вместо лица обожаемого монарха тотчас же увидел **лицо** председателя месткома товарища Суржикова.

И уже каждую ночь Федора Никитича с непостижимой методичностью посещали одни и те же выдержанные советские сны. Представлялись ему: членские взносы, стенгазеты,

МОПРЫ, совхоз «Гигант», торжественное открытие первой фабрики-кухни, председатель общества друзей кремации и большие советские перелеты.

Монархист ревел во сне. Ему не хотелось видеть друзей кремации. Ему хотелось увидеть крайнего правого депутата Государственной **Думы** Пуришкевича, патриарха Тихона, ялтинского градоначальника Думбадзе или хотя бы какого-нибудь простенького инспектора народных училищ. Но ничего этого не было. Советский строй ворвался даже в сны монархиста.

– Все те же сны! – заключил Хворобьев плачущим голосом. – Проклятые сны!

– Ваше дело плохо, – сочувственно сказал Остап, – как говорится, бытие определяет сознание. Раз вы живете в **советской** стране, то и сны у вас должны быть советские.

– Ни минуты отдыха! – жаловался Хворобьев. – Хотя что-нибудь! Я уже на все согласен. Пусть не Пуришкевич! Пусть хоть Милюков. Все-таки человек с высшим образованием и монархист в душе. Так нет же! Все эти советские антихристы!

– Я вам помогу, – сказал Остап, – **мне** приходилось лечить друзей и знакомых по Фрейду. Сон – это пустяки. Главное – это устранить причину сна. Основной причиной является самое существование советской власти. Но в данный момент я устранить ее не могу. У меня просто нет времени. Я, видите ли, турист-спортсмен, сейчас мне надо произвести небольшую починку своего автомобиля, так что разрешите закатить его к вам в сарай. А насчет причины вы не беспокойтесь. Я ее устраню на обратном пути. Дайте только пробегокончить.

Одуревший от тяжелых снов монархист охотно разрешил милому и отзывчивому молодому человеку воспользоваться сараем. Он набросил поверх сорочки пальто, надел на босу ногу калоши и вышел вслед за Бендером во двор.

– Так, значит, можно надеяться? – спрашивал он, семена за своим ранним гостем.

– Не сомневайтесь, – небрежно отвечал командор, – как только советской власти не станет, вам сразу станет как-то легче. Вот увидите!..

Через полчаса **Антилопа** была спрятана у Хворобьева и оставлена под надзором Козлевича и Паниковского. Бендер в сопровождении Балаганова отправился в город за красками.

Молочные братья шли навстречу солнцу, пробираясь к центру города. На карнизах домов прогуливались серые голуби. Спрыснутые водой деревянные тротуары были чисты и прохладны.

Человеку с неотягченной совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, вынуть из кармана коробочку спичек, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и надписью «Ответ Керзону», полюбоваться на свежую пачку папирос и закурить, спугнув кадильным дымом пчелу с золотыми позументами на брюшке.

Бендер и Балаганов подпали под влияние утра, опрятных улиц и бессребреников-голубей. На время им показалось, что совесть их ничем не отягчена, что все их любят, что они женихи, идущие на свидание с невестами **в маркизовых платьях**.

Внезапно дорогу братьям преградил человек со складным мольбертом и полированным ящиком для красок в руках. Он имел **несколько** взбудораженный вид, словно бы только что выскочил из горящего здания, успев спасти **от** огня лишь мольберт и ящик.

– Простите, – звонко сказал он, – тут только что должен был пройти товарищ Плотский-Поцелуев. Вы его не встретили? Он здесь не проходил?

– Мы таких никогда не встречаем, – грубо сказал Балаганов.

Художник толкнул Бендера в грудь, сказал «пардон» и устремился дальше.

– Плотский-Поцелуев! – ворчал великий комбинатор, который еще не завтракал. – У меня самого была знакомая акушерка по фамилии Медуза-Горгонер, и я не делал из этого

шума, не бегал по улицам с криками: «Не видали ли вы часом гражданки Медузы-Горгонер. Она, дескать, здесь прогуливалась». Подумаешь! Плотский-Поцелуев!

Не успел Бендер закончить своей тирады, как прямо на него выскочили два человека с черными мольбертами и полированными этюдниками. Это были совершенно различные люди. Один из них, как видно, держался того взгляда, что художник обязательно должен быть волосатым, и по количеству растительности на лице был прямым заместителем Генриха Наваррского в СССР. Усы, кудри и борода очень оживляли его плоское лицо. Другой был просто лыс, и голова у него была скользкая и гладкая, как стеклянный абажур.

– Товарища Плотского... – сказал заместитель Генриха Наваррского, задыхаясь.

– Поцелуева! – добавил абажур.

– Не видели? – прокричал Наваррский.

– Он здесь должен прогуливаться, – объяснил абажур.

Бендер отстранил Балаганова, который раскрыл было **зев** для произнесения ругательства, и с оскорбительной вежливостью сказал:

– Товарища Плотского, **урожденного Поцелуева**, мы не видели, но если указанный товарищ вас действительно интересует, то поспешите. Его **уже** ищет какой-то трудящийся, по виду художник-пушкарь.

Сцепляясь мольбертами и пихая друг друга, художники побежали дальше. А в это время из-за угла вынесся извозчий экипаж. В нем сидел толстяк, у которого под складками синей толстовки угадывалось потное брюхо. Общий вид пассажира вызывал в памяти старинную рекламу патентованной мази, начинавшуюся словами: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление». Разобраться в профессии толстяка было нетрудно. Он придерживал рукою большой стационарный мольберт. В ногах у извозчика лежал полированный ящик, в котором, несомненно, помещались краски.

– Алло! – крикнул Остап. – Вы ищете **Плотского-Поцелуева**?

– Так точно, – подтвердил жирный художник, жалобно глядя на Остапа.

– Торопитесь! Торопитесь! Торопитесь! – закричал Остап. – Вас обошли уже три художника! В чем тут дело? Что случилось?

Но лошадь, гремя подковами по диким булыжникам, уже унесла четвертого представителя изобразительных искусств.

– Какой культурный город! – сказал Остап. – Вы, вероятно, заметили, Балаганов, что из четырех встреченных нами граждан четверо оказались художниками. Любопытно!

Когда молочные братья остановились перед москательной лавкой, Балаганов шепнул Остапу:

– Вам не стыдно?

– Чего? – спросил Остап.

– Того, что вы собираетесь платить за краску живыми деньгами?

– Ах, вы об этом? – сказал Остап. – Признаюсь, немного стыдно. Глупое положение, конечно. Но что ж делать. Не бежать же в исполком и просить там красок на проведение **Дня Жаворонка**! Они-то дадут, но ведь мы потеряем целый день!

Сухие краски в банках, стеклянных цилиндрах, мешках, бочонках и прорванных бумажных пакетах имели заманчивые цирковые цвета и придавали москательной лавке праздничный вид.

Командор и бортмеханик придирчиво стали выбирать краски.

– Черный цвет – слишком траурно, – говорил Остап. – Зеленый **уже** не подходит. Это цвет рухнувшей надежды. Лиловый – нет! Пусть в лиловой машине разъезжает начальник угрозыска. Розовый – пошло, голубой – банально, красный – слишком верноподданно. Придется выкрасить **Антилопу** в желтый цвет. Будет **немножко** ярковато, но красиво.

– А вы кто будете? Художники? – спросил продавец, подбородок которого был слегка **закрашен** киноварью.

– Художники, – ответил Бендер. – **Баталисты** и маринисты.

– Тогда вам не сюда нужно, – сказал продавец, снимая с прилавка пакеты и банки.

– Как не сюда! – воскликнул Остап. – А куда же?

– Напротив.

Приказчик подвел друзей к двери и показал рукой на вывеску через дорогу. Там была изображена коричневая лошадиная голова, и черными буквами по голубому фону выведено: «Овес и сено».

– Все правильно, – сказал Остап, – твердые и мягкие корма для скота. Но причем же тут наш брат – художник? Не вижу никакой связи.

Однако связь оказалась, и очень существенная. Остап ее обнаружил уже в самом начале объяснения приказчика.

Город всегда любил живопись, и четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных ответработников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки диалектических станковистов. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, **когда** в город приехал новый художник Феофан **Копытто**.

Первая его работа вызвала в городе большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан **Копытто** оставил станковистов далеко позади. Заведующий гостиничным трестом был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не темперой, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса. И когда художник **Копытто** перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала.

С течением времени **Копытто** стал употреблять также и другие злаки. Имели **громкий** успех портреты из проса, пшеницы и мака, смелые наброски кукурузой и ядрицей, пейзажи из риса и натюрморты из пшена.

Сейчас он работал над групповым портретом. Большое полотно изображало заседание окрплана. Эту картину Феофан готовил из фасоли и гороха. Но в глубине души он **остался** верен овсу, который сделал ему карьеру и сбил с позиций диалектических станковистов.

– Овсом оно, конечно, способнее! – воскликнул Остап. – А Рубенс-то с Рафаэлем дураки – маслом старались! Мы тоже дураки, вроде Леонардо да Винчи. Дайте нам желтой эмалевой краски.

Расплачиваясь с разговорчивым продавцом, Остап спросил:

– **Да. Кстати. Кто** такой Плотский-Поцелуев? А то мы, знаете, не здешние, не в курсе дел.

– Товарищ **Плотский-Поцелуев** – известный работник центра, наш горожанин. Теперь из Москвы в отпуск приехал.

– Все понятно, – сказал Остап, – **спасибо** за информацию. До свидания!

На улице молочные братья завидели диалектических станковистов. Все четверо, с лицами грустными и томными, как у цыган, стояли на перекрестке. Рядом с ними торчали мольберты, составленные в ружейную пирамиду.

– Что, служивые, плохо? – спросил Остап. – Упустили Плотского-Поцелуева?

– Упустили! – **Застонали** художники. – Из рук ушел.

– Феофан перехватил? – спросил Остап, обнаруживая хорошее знакомство с предметом.

– Уже пишет, халтурщик, – ответил заместитель Генриха Наваррского. – Овсом. К старой манере, говорит, перехожу. Жалуется, лабазник, на кризис жанра.

– А где ателье этого деляги? – любопытствовал Остап. – Хочется бросить взгляд.

Художники, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану **Копытто**. Феофан работал у себя в садике, на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский-**Поцелуев**, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель на трехчервонной бумажке, захватывал горстями овес из лукошка и бросал его **на холст**. **Копытто** хмурился. Ему мешали воробьи. Они дерзко подлетали к картине и выклевывали из нее отдельные детали.

– Сколько вы получите за эту картину? – застенчиво спросил **Поцелуев**.

Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил:

– Что ж. Рублей двести пятьдесят музей за нее даст.

– Однако дорого.

– А овес-то нынче, – сказал **Копытто** певуче, – не укупишь. Он дорог, овес-то!

– Ну, как яровой клин? – спросил Остап, просовывая голову сквозь решетку садика. – Посевкампания, я вижу, проходит удачно! На сто процентов? Но все это чепуха по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос. Большую картину со многими фигурами **и**, заметьте, идеологически выдержанную, хотя художник и пользовался волосами беспартийных, – был такой грех. Но идеологически, повторяю, картина была замечательно выдержана. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». Это была такая строптивая картина, что с ней **уже и** не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставляли дыбом. А в один прекрасный день она совершенно поседела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Но художник успел отхватить за выдумку тысячи полторы. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ **Копытто**. Овес вдруг прорастет, ваши картины заколосятся, и вам уже больше никогда не придется снимать урожай.

Диалектические станковисты сочувственно захохотали. Но Феофан не смутился.

– Это звучит парадоксом, – заметил он, возобновляя посевные манипуляции.

– Ладно, – сообщил Остап, прощаясь, – сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим. Прощайте и вы, служивые! Бросьте свои масляные краски. Переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек! **В наш век пара и электричества!** Замечательная идея!

Весь день антилоповцы красили свою машину. К вечеру она стала неузнаваемой и блистала всеми оттенками яичного желтка.

На рассвете следующего дня преобразенная **Антилопа** покинула гостеприимный сарай и взяла курс на юг.

– Жалко, что не удалось попрощаться с хозяином. Но он так сладко спал, что его не хотелось будить. Может, ему сейчас наконец снится сон, которого он так долго ожидал: митрополит Двулогий благословляет чинов министерства народного просвещения в день трехсотлетия дома Романовых.

И в ту же минуту сзади, из бревенчатого домика, послышался знакомый уже Остапу плачевный рев.

– Все тот же сон! – вопил старый Хворобьев. – Боже, боже!

– Я ошибся, – заметил Остап, – **ему**, должно быть, приснился не митрополит Двулогий, а широкий пленум литературной группы «Кузница и усадьба». Однако черт с ним! Дела призывают нас в Черноморск!

Глава девятая. Снова кризис жанра

Чем только не занимаются люди!

Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена **Волховская** гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «**Уйди-уйди**», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «**Полпред**». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир **далек** от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно – как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.

Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе и только тогда их товарец может найти сбыт. В советское время, когда в большом мире созданы идеологические твердыни, в маленьком мире замечается оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится гранитная база **коммунистической** идеологии. На пузыре «**Уйди-уйди**» изображается Чемберлен, очень похожий на того, каким его рисуют в «Известиях». В популярной песенке умный слесарь, чтобы добиться любви комсомолки, в три рефрена выполняет и даже перевыполняет промфинплан. И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже все готово: есть галстук «Мечта ударника», **толстовка «Гладковка»**, гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых».

В области ребусов, шарад, шарадоидов, логогрифов и загадочных картинок пошли новые веяния. Работа по старинке вышла из моды. Секретари газетных и журнальных отделов «В часы досуга» или «Шевели мозговой извилиной» решительно перестали брать товар без идеологии. И пока великая страна шумела, пока строились тракторные заводы и создавались грандиозные зерновые фабрики, старик Сеницкий, ребусник по профессии, сидел в своей комнате и, устремив остекленевшие глаза в потолок, сочинял шараду на модное слово «индустриализация».

У Сеницкого была наружность гнома. Таких гномов обычно изображали маляры на вывесках зонтичных магазинов. Вывесочные гномы стоят в красных колпаках и дружелюбно подмигивают прохожим, как бы приглашая их поскорее купить шелковый зонтик или трость с серебряным набалдашником в виде собачьей головы. Длинная желтоватая борода Сеницкого опускалась прямо под стол, в корзину для бумаг.

– Индустриализация! – горестно шептал он, шевеля бледными, как сырые котлеты, старческими губами.

И он привычно **разделял** это слово на шарадные части.

– Индус. Три. Али. За...

Все **это** было прекрасно. Сеницкий уже представлял себе пышную шараду, значительную по содержанию, легкую в чтении и трудную для отгадки. **Сомнения** вызывала только последняя **часть** «ция».

– Что же это за «ция» такая, – напрягался старик, – **вот** если бы «акция»! Тогда отлично вышло бы: индустриализация.

Промучившись полчаса и не **надумав**, как поступить с капризным окончанием, Сеницкий решил, что конец придет сам собой, и приступил к работе. Он начал писать свою поэму на листе, вырванном из бухгалтерской книги, с **жирной** надписью «дебет».

Сквозь **большую** стеклянную дверь балкона видны были цветущие акации, латанные крыши домов и резкая синяя черта морского горизонта. Черноморский полдень заливал город кисельным зноем.

Старик подумал и нанес на бумагу начальные **строчки**:

Мой первый слог сидит в чалме,
Он на **востоке** быть обязан.

– Он на **востоке** **жить** обязан! – с удовольствием произнес старик.

Ему понравилось то, что он сочинил, трудно было только найти рифмы к словам «обязан» и «чалме». Ребусник походил по комнате и потрогал руками бороду. Вдруг его осенило.

Второй же слог известен мне,
Он с цифройю как будто связан.

С «Али» и «за» тоже удалось легко справиться.

В чалме сидит и третий слог,
Живет он тоже на востоке.

Четвертый слог поможет бог
Узнать, что это есть предлог.

Утомленный последним усилием, Синицкий отвалился на спинку стула и закрыл глаза. Ему было уже семьдесят лет. Пятьдесят из них он сочинял ребусы, шарады, загадочные картинки и шарадоиды. Но никогда еще почтенному ребуснику не было так трудно работать, как сейчас. Он отстал от жизни, был политически неграмотен, и молодые конкуренты легко его побивали. Они приносили в редакции задачи с такой прекрасной идеологической установкой, что старик, читая их, плакал от зависти. Куда ему было угнаться за такой, например, задачей:

Задача-арифмоид

На трех **станциях Воробьево, Грачево и Дроздово** было по равному количеству служащих. На станции Дроздово было комсомольцев в шесть раз меньше, чем на двух других вместе взятых, а на станции Воробьево партийцев было на 12 человек больше, чем на станции Грачево. Но на этой последней беспартийных было на 6 человек больше, чем на первых двух. Сколько служащих было на каждой станции и какова была **там** партийная и комсомольская прослойка?

Очнувшись от своих горестных мыслей, старик снова взялся за листок с надписью «дебет», но в это время в комнату вошла девушка с мокрыми стриженными волосами и черным купальным костюмом на плече.

Она молча **прошла** на балкон, развесила на облупленных перилах сырой костюм и глянула вниз. Девушка увидела бедный двор, который видела уже много лет, – нищенский двор, где валялись разбитые ящики **из-под макарон**, бродили перепачканные углем коты и **жестянщик** с громом чинил ведро. В нижнем этаже домашние хозяйки **растабарывали** о своей тяжелой жизни.

И разговоры эти девушка слышала **не первый** раз, и котов она знала по **именам**, и **жестянщик**, как ей показалось, чинил это самое ведро уже много лет подряд. Зося Синицкая вернулась в комнату.

– Идеология заела, – услышала она бормотание деда, – а какая в ребусном деле может быть идеология? Ребусное дело...

Зося заглянула в старческие каракули деда и сейчас же крикнула:

– Что ты тут написал? Что это такое? «Четвертый слог поможет бог узнать, что это есть предлог». Почему – бог? Ведь ты сам говорил, что в редакции не принимают **теперь** шарад с церковными выражениями.

Синицкий ахнул. Крича: «Где бог, где? Там нет бога!», он дрожащими руками втащил на нос очки в белой оправе и ухватился за листок.

– Есть бог, – промолвил он печально. – Оказался. Опять маху дал! Ах, жалко! И рифма пропадает хорошая.

– А ты вместо «бог» поставь «рок», – сказала Зося.

Но испуганный Синицкий отказался от «рока».

– Это тоже мистика! Я знаю! Ах, **маху дал**, маху дал! Что же это будет, Зосенька?

Зося равнодушно посмотрела на деда и посоветовала сочинить новую шараду.

– Все равно, – сказала она, – **слова** с окончанием «ция» у тебя не **выходят**. Помнишь, как ты мучился со словом «теплофикация»?

– Как же! – **оживился** старик. – **Я** еще третьим слогом поставил «кац» и написал так: «А третий слог, досуг имея, узнает всяк фамилию еврея». Не взяли эту шараду. Сказали – **слабо**, не подходит. Маху дал.

И старик, усевшись за свой стол, начал разрабатывать большой, идеологически выдержанный ребус. Первым долгом он набросал карандашом гуся, держащего в клюве букву «Г», большую и тяжелую, как виселица. Работа ладилась.

Зося принялась накрывать к обеду. Она переходила от буфета с зеркальными иллюминаторами к столу и выгружала посуду. Появилась фаянсовая суповая чашка с отбитыми ручками, тарелки с цветочками и без цветочков, пожелтевшие вилки и даже компотница, хотя к обеду никакого компота не предполагалось. Вообще дела Синицких были плохи. Ребусы и шарады приносили в дом больше волнений, чем денег. С домашними обедами, которые старый ребусник давал знакомым гражданам и которые являлись главной статьей **домашнего** дохода, тоже было плохо. Подвысоцкий и **Болце** уехали в отпуск, Стульян женился на гречанке и стал обедать дома, а Побирухина вычистили из учреждения по второй категории, и он от волнения потерял аппетит и отказался от обедов. Теперь он ходил по городу, останавливая знакомых и произносил одну и ту же полную скрытого сарказма фразу: «Слышали новость? Меня вычистили по второй категории!» И некоторые знакомые сочувственно отвечали: «Вот наделали делов эти **бандиты** Маркс и Энгельс». А некоторые ничего не отвечали, косили на Побирухина огненным глазом и проносились мимо, **труся** портфелями. В конце концов из всех нахлебников остался один, да и тот не **платил** уже неделю, ссылаясь на задержку **жалования**.

Недовольно задвигав плечами, Зося отправилась в кухню, а когда вернулась, за обеденным столом сидел последний столовник – Александр Иванович Корейко.

В обстановке **внеслужебной** Александр Иванович не казался человеком робким и приниженным. Но все же настороженное выражение ни на минуту не сходило с его лица. Сейчас он внимательно разглядывал новый ребус Синицкого. Среди прочих загадочных рисунков был там нарисован **нуль**, из которого сыпались буквы «Т», елка, из-за которой выходило солнце, и воробей, сидящий на нотной строке. Ребус заканчивался **провернутой** вверх запятой.

– Этот ребус трудненько будет разгадать! – говорил Синицкий, похаживая вокруг столовника. – Придется вам посидеть над ним, **Александр Иванович**.

– Придется, придется, – ответил Корейко с усмешкой, – только вот гусь меня смущает. К чему бы такой гусь? А-а-а. Есть. Готово. «В борьбе обрешь ты право свое»?

– Да, – разочарованно протянул старик, – как это вы так быстро угадали? Способности большие! Сразу видно **человека** первого разряда.

– Второго разряда, – поправил Корейко. – А для чего вы этот ребус приготовили? Для печати?

– Для печати.

– И совершенно напрасно, – сказал Корейко, с любопытством поглядывая на борщ, в котором плавали золотые медали жира. Было в этом борще что-то заслуженное, что-то унтер-офицерское. – «В борьбе обрешь ты право свое» – это эсеровский лозунг. Для печати не годится.

– Ах ты, боже мой! – застонал старик. – Царица небесная! Опять маху дал! Слышишь, Зосенька? Маху дал! Что же теперь делать?

Старика успокаивали, **но он был безутешен**. Кое-как пообедав, он немедленно поднялся, собрал **изготовленные** за неделю загадки, надел лошадиную соломенную шляпу и сказал:

– Ну, Зосенька, пойду в «Молодежные ведомости». Немножко беспокоюсь за алгеброид, но, в общем, деньги я там достану. **До свидания, Александр Иванович.**

В комсомольском журнале «Молодежные ведомости» старика часто браковали, корили за отсталость, но все-таки не обижали, и журнал этот был единственным местом, откуда к старику бежал тоненький денежный ручеек. Синицкий захватил с собой шараду, начинающуюся словами: «Мой первый слог на дне морском», два колхозных логогрифа и один алгеброид, в котором, путем очень сложного умножения и деления, доказывалось преимущество советской власти перед всеми другими властями.

Когда ребусник ушел, Александр Иванович мрачно принялся рассматривать Зосю. Александр Иванович столовался у Синицких сначала потому, что обеды были **там** дешевые и вкусные. К тому же основным правилом он поставил себе ни на минуту не забывать о том, что он мелкий служащий. Он **тыкал всем в глаза своей мнимой бедностью** и любил поговорить о трудности существования в большом городе на мизерное **жалование**. Но с некоторых пор цена и вкус обедов потеряли для него то отвлеченное и показательное значение, которое он им придавал. Если бы от него потребовали, и он мог сделать это не таясь, то платил бы за обед не шестьдесят **пять** копеек, как он это делал теперь, а три или даже пять тысяч рублей.

Александр Иванович, подвижник, сознательно изнурявший себя финансовыми веригами, запретивший себе прикасаться ко всему, что стоит дороже полтинника, и в то же время раздраженный тем, что из боязни потерять миллионы он не может открыто истратить ста рублей, – влюбился со всей решительностью, на которую способен человек сильный, суровый и **обозленный** бесконечным ожиданием.

Сегодня наконец он **решился** объявить Зосе о своих чувствах и предложить свою руку, где бился пульс, маленький и злой, как хореk, и свое сердце, стянутое сказочными обручами.

– Да, – сказал он, – такие-то дела, Зося Викторовна¹.

Сделав это сообщение, гражданин Корейко схватил со стола **длинную** пепельницу, на которой был написан дореволюционный лозунг: «Муж, не серди свою жену», и стал внимательно в нее вглядываться.

Тут необходимо разъяснить, что нет на свете такой девушки, которая не знала бы по крайней мере за неделю о готовящемся изъятии чувств. Поэтому Зося Викторовна озабоченно вздохнула **и остановилась** перед зеркалом. У нее был тот спортивный вид, который за последние годы приобрели все красивые девушки. Проверив это обстоятельство, она уселась против Александра Ивановича и приготовилась слушать. Но Александр Иванович

¹ В рукописи разночтение: Зося Адамовна и Зося Викторовна. Исправлено по последнему варианту. (Прим. ред.)

ничего не сказал. Он знал только две роли: **бедного** служащего и подпольного миллионера. Третьей **роли** он не знал.

– Вы слышали новость? – спросила Зося. – Побирухина вычистили.

– У нас тоже чистка началась, – ответил Корейко. – **Многие** полетят. Например, Лапидус-младший. Да и Лапидус-старший тоже хорош...

Здесь Корейко заметил, что идет по тропинке бедного служащего. Свинцовая задумчивость снова овладела им.

– Да, да, – сказал он, – живешь так в одиночестве, не зная наслаждений.

– Чего, чего не зная? – оживилась Зося.

– Не зная женской привязанности, – заметил Корейко спертым голосом.

Не видя никакой поддержки со стороны Зоси, он развил свою мысль.

Он уже стар. То есть не то чтоб стар, но не молод. И даже не то чтоб не молод, а просто время идет, годы проходят. Идут года. И вот это движение времени навевает на него разные мысли. О браке, например. Пусть не думают, что он какой-то такой. Он хороший, в общем. Совершенно безобидный человек. Его надо жалеть. И ему даже кажется, что его можно любить. Он не пижон, как другие, и не любит бросать слова на ветер. **Честно и откровенно**. Почему бы одной девушке не пойти за него замуж.

Выразив свои чувства в такой несмелой форме, Александр Иванович сердито посмотрел на **внучку ребусника**.

– А Лапидуса-младшего действительно могут вычистить? – спросила Зося.

И, не дождавшись ответа, заговорила по существу дела. Она все отлично понимает. Время действительно идет ужасно быстро. Еще так недавно ей было девятнадцать лет, а сейчас уже двадцать. А еще через год будет двадцать один. Она никогда не думала, что Александр Иванович какой-то такой. Напротив, она всегда была уверена, что он хороший. Лучше многих. И, конечно, достоин всего. Но у нее именно сейчас какие-то искания, какие? – **она** и сама не знает. В общем, она в данный момент выйти замуж не может. Да и какая жизнь у них может выйти? У нее искания! А у него, если говорить честно и откровенно, всего лишь **46 рублей в месяц**.

– Какие там сорок шесть рублей! – страшным голосом сказал вдруг Александр Иванович, подымаясь во весь рост. – У меня... **Мне**...

Больше он ничего не сказал. Он испугался. Начинаясь роль миллионера, и это могло бы кончиться только гибелью. Страх его был так велик, что он **даже** начал бормотать что-то о том, что не в деньгах счастье.

Но в это время за дверью послышалось чье-то **сопение**. Зося выбежала в коридор.

Там стоял дед в своей большой шляпе, сверкающей соломенными кристаллами, **он** не решался войти. От горя борода его разошлась, как веник.

– Почему так скоро? – крикнула Зося. – Что случилось?

Старик возвел на нее глаза, полные слез.

Испуганная Зося схватила старика за колючие плечи и быстро потащила в **квартиру**. Полчаса лежал Синицкий на диване и дрожал.

– **Что же случилось?** – допытывалась Зося. – **Ты не волнуйся. Расскажи толком.**

После долгих уговоров дед приступил к рассказу.

Все было прекрасно. **Погода благоприятствовала путешествию Синицкого**. До самой редакции «Молодежных ведомостей» он добрался без всяких приключений. Заведующий отделом «Умственных упражнений» встретил ребусника чрезвычайно вежливо.

– Руку подал, Зосенька, – вздыхал старик. – Садитесь, говорит, товарищ Синицкий. И тут-то он меня и огорошил. А ведь наш-то отдел, говорит, закрывают. Новый редактор прибыл, заявил, что наши читатели не нуждаются в умственных упражнениях, а нуждаются они, Зосенька, в специальном отделе шашечной игры. Что ж будет? – спрашиваю. Да ничего,

говорит заведующий, не пойдет ваш материал и только. А шараду мою очень хвалил. Прямо, говорит, пушкинские строки, в особенности это место: «Мой первый слог на дне морском, на дне морском второй мой слог».

Старик ребусник долго еще содрогался на диване и жаловался на **засилье** советской идеологии.

– Опять драма! – воскликнула Зося.

Она нацепила шляпку и направилась к выходу. Александр Иванович двинулся за ней, хотя понимал, что идти не следовало бы. **Когда они проходили по длинному коридору коммунальной квартиры, густо начиненной людьми и вещами, вслед открывались двери, и горящие глаза соседей светились в полумраке.**

На улице Зося взяла Корейко под руку **и сказала:**

– Мы все-таки будем дружить. Правда?

– Было бы лучше, если бы вы вышли за меня замуж, – откровенно буркнул Корейко.

– **Вот упрямый человек, – сказала Зося, – успеется!**

В раскрытых настежь буфетах искусственных минеральных вод толпились молодые люди без шляп, в белых рубашках с закатанными выше **локтей** рукавами. Синие сифоны с металлическими кранами стояли на полках. Длинные стеклянные цилиндры с **сиропами** на вертящейся подставке мерцали аптекарским светом. Персы с печальными лицами калили на жаровнях орехи, и угарный дым манил гуляющих.

– В кино хочется, – капризно сказала Зося, – орехов хочется, **зельтерской** с сиропом.

Для Зоси Корейко готов **был** на все. Он решился бы даже слегка нарушить свою конспирацию, потратив рублей пять на кутеж, **но сейчас** в кармане у него в плоской железной коробке от папирос «Кавказ» лежало десять тысяч рублей бумажками, достоинством по двадцать пять червонцев каждая. Но если бы даже он сошел с ума и решился бы обнаружить хотя бы одну бумажку, ее все равно ни в одном кинематографе нельзя было **бы** разменять.

– Зарплату задерживают, – сказал он в полном отчаянии, – выплачивают крайне неаккуратно.

В эту минуту от **толпы** отделился молодой человек в прекрасных сандалиях на босу ногу. **Он приветствовал Зосю поднятием руки под углом в 45 градусов.**

– Привет, привет, – сказал он, – у меня две контрамарки в кино. Хотите, **Зося?** Только моментально.

И молодой человек в замечательных сандалиях увлек Зосю под тусклую вывеску кино «Камо грядеши», **быв. «Кво вадис».**

Эту ночь **конторщик** не спал дома. До самого утра он шатался по городу, тупо рассматривал карточки голеньких младенцев в стеклянных витринах фотографов, взрывал ногами гравий на бульваре и глядел в темную пропасть порта. Там переговаривались невидимые пароходы, слышались милицейские свистки, и поворачивался красный маячный огонек.

– Проклятая страна! – бормотал Корейко. – Страна, в которой миллионер не может повести свою невесту в кино!

Сейчас Зося уже казалась ему невестой.

К утру побелевший от бессонницы Александр Иванович забрел на окраину города. Когда он проходил по Бессарабской улице, ему послышались звуки матчиша. Удивленный, он остановился.

Навстречу ему, **оттуда, где кончается улица и начинается поле,** спускался с горы **большой** желтый автомобиль. За рулем, согнувшись, сидел усталый шофер в хромовой тужурке. Рядом с ним дремал широкоплечий малый, свесив набок голову в стетсоновской шляпе с дырочками. На заднем **сидении** развалились еще двое пассажиров: пожарный в полной выходной форме и атлетически сложенный мужчина в морской фуражке с белым верхом.

– Привет первому черноморцу! – крикнул Остап, когда машина с тракторным грохотом проносилась мимо **Корейки**. – Теплые морские ванны еще работают? Городской театр функционирует? Уже объявили Черноморск вольным городом?

Но Остап не получил ответа. Козлевич открыл глушитель, и **Антилопа** утопила первого черноморца в облаке голубого дыма.

– Ну, – сказал Остап **оглянувшемуся** Балаганову, – заседание продолжается! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать! Ох, уж мне эти принцы и нищие!

Часть вторая. Два комбинатора

Глава десятая. Телеграмма от братьев Карамазовых

С некоторого времени подпольный миллионер почувствовал на себе чье-то неусыпное внимание. Сперва ничего определенного не было. Исчезло только привычное и спокойное чувство одиночества. Потом стали обнаруживаться признаки более пугающего свойства.

Однажды, когда Корейко обычным размеренным шагом двигался на службу, возле самого **ГЕРКУЛЕС’а** его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал:

– Дай миллион, дай миллион, дай миллион!

После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный **нищий-полуидиот**, какие часто встречаются в южных городах. Тем не менее Корейко поднялся к себе, в финсчетный зал, со смущенной душой.

С этой вот встречи началась чертовщина.

В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холода, миллионер разорвал бандероль и прочел:

«Графиня изменившимся лицом бежит пруду».

– Какая графиня? – ошалело прошептал Корейко, стоя босиком в коридоре.

Но никто ему не ответил. Почтальон ушел. В дворовом садике страстно мычали голуби. Жильцы спали. Александр Иванович повертел в руках серый бланк. Адрес **был** правильный. Фамилия тоже. Малая Касательная Александру Корейко «графиня изменившимся лицом бежит пруду».

Александр Иванович ничего не понял, но так взволновался, что сжег телеграмму на свечке.

В **17 ч. 35 м.** того же дня прибыла вторая депеша:

«Заседание продолжается зпт миллион поцелуев».

Александр Иванович побледнел от злости и разорвал телеграмму в клочки. Но в ту же ночь принесли еще две телеграммы-молнии:

«грузите апельсины бочках братья **карамазовы**».

И вторая:

«**лед** тронулся тчк командовать парадом буду я».

После этого с Александром Ивановичем произошел на службе обидный казус. Умножая в уме по просьбе Чеважевской **285 на 13**, он ошибся и дал неверное произведение, чего с ним никогда в жизни не **бывало**. Но сейчас ему было не до арифметических упражнений. Сумасшедшие телеграммы не выходили из головы.

– Бочках, – шептал он, устремив глаза на старика Кукушкинда, – **братья** Карамазовы. Просто свинство какое-то.

Он пытался успокоить себя мыслью, что это милые шутки каких-то друзей, но эту версию живо пришлось отбросить. Друзей у него не было. Что же касается сослуживцев, то это были люди серьезные, и шутили только раз в **году** – первого апреля. Да и в этот день веселых забав и радостных мистификаций они оперировали только одной печальной шуткой: **печатали** на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкинда и клали ему на стол. И каждый раз в течение семи лет старик хватался за сердце, что очень всех потешало. Кроме того, не такие это были богачи, чтобы тратиться на депеши.

После телеграммы, в которой неизвестный гражданин уведомлял, что командовать парадом будет именно он, а не кто-либо другой, наступило успокоение. Александра Ивановича не тревожили три дня. Он начал уже привыкать к мысли, что все случившееся нисколько его не касается, когда пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием «Капиталистические акулы» с подзаголовком: «**Биографии** американских миллионеров».

В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса. Первая фраза **книжицы** была очеркнута синим карандашом и гласила: «Все крупные современные состояния в **Америке** нажиты самым бесчестным путем».

Александр Иванович на всякий случай решил пока что не наведываться на вокзал к заветному чемодану. Он находился в весьма тревожном расположении духа.

– Самое главное, – говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», – это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного. Я сам когда-то был мистиком-одиначкой и дошел до такого состояния, что меня можно было испугать простым финским **ножиком**. Да, да. Побольше непонятного. Я убежден, что моя последняя телеграмма «**Мысленно** вместе» произвела на нашего контрагента потрясающее впечатление. Все это – суперфосфат, удобрение. Пусть поволнуется. Клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты.

Произнеся эту речь, Бендер строго посмотрел на своих подчиненных. Балаганов, Паниковский и Козлевич чинно сидели в красных плюшевых креслах с бахромой и кистями. Они стеснялись. Их смущал широкий образ жизни **командора и гравюра** «Явление Христа народу». Сами они вместе с **Антилопой** остановились на постоялом дворе и приходили в **гостиницу за** получением инструкций.

– Паниковский, – сказал Остап, – вам было поручено встретиться сегодня с нашим подзащитным и вторично **спросить** у него миллион, сопровождая эту просьбу идиотским смехом. **Ну?**

– Как только он меня увидел, он перешел на противоположный тротуар, – самодовольно ответил Паниковский.

– Так. Все идет правильно. Клиент начинает нервничать. Сейчас он переходит от тупого недоумения к беспричинному страху. Я не сомневаюсь, что он вскакивает по ночам с постели и жалобно лепечет: «Мама, мама!» Еще немного, самая чепуха, последний удар кисти – и он окончательно созреет. С плачем он полезет в буфет и вынет оттуда тарелочку с голубой каемкой...

Остап подмигнул Балаганову. Балаганов подмигнул Паниковскому; Паниковский подмигнул Козлевичу, и, хотя честный Козлевич ровно ничего не понял, **но** тоже стал мигать обоими глазами. И долго еще в номере гостиницы «Карлсбад» шло дружелюбное перемигивание, сопровождавшееся смешками, цоканьем языков и даже вскакиванием с красных плюшевых кресел.

– **Отставить** веселье, – сказал Остап. – Пока что тарелочка с деньгами в руках Корейко, если только она вообще существует, эта волшебная тарелочка.

Затем Бендер услап Паниковского и Козлевича на постоянный двор, предписав держать **Антилопу** наготове.

– Ну, Шура, – сказал он, оставшись вдвоем с Балагановым, – телеграмм больше не надо. Подготовительную работу можно считать законченной. Начинается активная борьба. Сейчас мы пойдем смотреть на драгоценного **баранчика** при исполнении им служебных обязанностей.

Держась в прозрачной тени акаций, молочные братья прошли городской сад, где толстая струя фонтана оплывала, как свеча, миновали несколько зеркальных пивных баров и остановились на углу улицы Меринга. Цветочницы с красными матросскими лицами купали свой нежный товар в эмалированных мисках. Нагретый солнцем асфальт шипел под ногами. Из голубой кафельной молочной выходили граждане, вытирая на ходу измазанные кефиром губы.

Толстые макаронные буквы деревянного золота, составлявшие слово **ГЕРКУЛЕС**, заманчиво светились. Солнце прыгало по саженным стеклам вертящейся двери. Остап и Балаганов вошли в вестибюль и смешались с толпой деловых людей.

Глава одиннадцатая. Геркулесовцы

На всех четырех этажах бывшей гостиницы шла кипучая работа. Но как ни старались часто сменявшиеся начальники изгнать из ГЕРКУЛЕС'а гостиничный дух, достигнуть этого им так и не удалось.

Как завхозы ни замазывали старые надписи, они все-таки выглядывали отовсюду. То выскакивало в торговом отделе слово «Кабинеты», то вдруг на матовой стеклянной двери машинного бюро замечались водяные знаки «Дежурная горничная», то обнаруживались нарисованные на **стенках** указательные персты с французским текстом «**Pour les dames**». Гостиница перла наружу. Служащие помельче занимались в рублевых номерах четвертого этажа, где останавливались в свое время **экономные попики**, приезжавшие на епархиальные съезды, или маленькие коммивояжеры с **черными** усиками. Там еще пахло **свечами** и стояли розовые железные умывальники. В номерах почище, куда заезжали **биллиардные** короли и провинциальные драматические артисты, разместились заведующие секциями, их помощники и завхоз. Здесь уже было получше: стояли платяные шкафы с зеркалами и пол был обшит рыжим линолеумом. В роскошных номерах с ваннами и альковами гнездились начальство. В белых ваннах валялись **какие-то** дела, а в полутемных альковах висели диаграммы и схемы, наглядно рисовавшие структуру ГЕРКУЛЕС'а, а также связь его с периферией. Тут сохранились дурацкие золоченые диванчики, ковры и ночные столики с мраморными досками. В некоторых альковах стояли даже панцирные никелированные кровати с шариками. На них тоже лежали дела и всякая нужная переписка. Это было чрезвычайно удобно, так как бумажки всегда **были** под рукой.

В одном из таких номеров, в номере пятом, останавливался **как-то** знаменитый писатель Леонид Андреев. Все геркулесовцы это знали, и номер **пятый пользовался** в учреждении дурной славой. Со всеми ответственными работниками, устраивавшими здесь свой кабинет, обязательно приключалась какая-нибудь беда. Не успевал номер пятый как следует войти в курс дела, как его уже снимали и бросали на **низовую** работу. Хорошо еще, если без выговора! А то бывало и с выговором, бывало **и** с опубликованием в печати, бывало и хуже, о чем даже упоминать неприятно.

– Демонский **номер!** – в один голос утверждали потерпевшие. – Ну кто мог подозревать?

И на голову писателя, автора страшного «Рассказа о семи повешенных», падали ужаснейшие обвинения, будто бы именно он, **творец известной пьесы «Дни нашей жизни»**, **был** повинен в том, что **тов.** Лапшин принял на службу шестерых родных братьев-богатырей, что **тов.** Справченко в заготовке древесной **лозы** понадеялся на самотек, чем эти заготовки и провалил, и что **тов.** Индокитайский проиграл в «**шестьдесят шесть**» 7384 рубля 03 коп. казенных денег. Как Индокитайский ни вертелся, как ни доказывал в соответствующих инстанциях, что 03 коп. он израсходовал на пользу **государству** и что он может представить на указанную сумму оправдательные документы, – ничто ему не помогло. Тень покойного писателя была неумолима, и осенним вечером Индокитайского повели на отсидку. Действительно, нехороший был этот номер пятый.

Начальник всего ГЕРКУЛЕС'а **тов.** Полыхаев, **видный мужчина, стриженный бобриком**, помещался в бывшем зимнем саду, и секретарша его, Серна Михайловна, то и дело мелькала среди уцелевших пальм и сикомор. Там же стоял длинный, как вокзальный перрон, стол, покрытый малиновым сукном, за которым происходили частые и длительные заседания правления. А с недавнего времени в комнате № 262, где некогда помещалась малая буфетная, засела комиссия по чистке в числе восьми ничем не выдающихся с виду товари-

щей с серенькими глазами. Приходили они аккуратно каждый день и все читали какие-то служебные бумаженции.

– Смотрят на бумажки, как баран на аптеку, – горделиво острили старые геркуле-совцы, – а сами и читать толком не умеют.

Когда Остап и Балаганов **подымались** по лестнице, раздался тревожный звонок, и сразу же из всех комнат выскочили служащие. Стремительность этого маневра напоминала корабельный аврал. Однако это был не аврал, а перерыв для завтрака. Иные из служащих **поспешали** в буфет, чтобы успеть захватить бутерброды с красной икрой. Иные же делали променады в коридорах, закусывая на ходу. Из планового отдела вышел служащий благороднейшей наружности. Молодая округлая борода висела на его бледном ласковом лице. **Влажные женские глаза светились добротой.** В руке он держал холодную котлету, которую то и дело подносил ко рту, каждый раз внимательно **ее** оглядев. В этом занятии служащему с **благороднейшей наружностью** чуть не помешал Балаганов, **пожелавший** узнать, на каком этаже находится финсчетный отдел.

– Разве вы не видите, товарищ, что я закусываю? – сказал служащий, с негодованием отвернувшись от Балаганова.

И, не обращая больше внимания на молочных братьев, погрузился в разглядывание последнего кусочка котлеты. Осмотрев его со всех сторон самым тщательным образом и даже понюхав на **прощание**, служащий отправил его в рот, выпятил грудь, сбросил с пиджака крошки и медленно подошел к другому **служащему** у дверей своего отдела.

– Ну, что, – спросил он, оглянувшись, – как самочувствие?

– Лучше б не спрашивали, товарищ Бомзе, – ответил тот. **И**, тоже оглянувшись, добавил: – Разве это жизнь? Нет никакого простора индивидуальности! Все одно и то же, пятилетка в четыре года, пятилетка в три года.

– Да, да, – зашептал Бомзе, – просто ужас какой-то. Я с вами совершенно согласен. Именно, никакого простора для индивидуальности, никаких стимулов, никаких личных перспектив. Жена, сами понимаете, домашняя хозяйка, – и та говорит, что нет стимулов, нет личных перспектив!

Тяжело вздохнув и трогая свою бороду, Бомзе двинулся навстречу другому служащему, **только что вернувшемуся из буфета.**

– Ну, что, – спросил он, заранее печально улыбаясь, – как самочувствие?

– Да вот, – сказал собеседник, – сегодня утром из командировки. Удалось повидать совхоз. Грандиозно! Зерновая фабрика! Вы себе не представляете, голубчик, что такое пятилетка, что такое воля коллектива!

– Ну, то есть буквально то же самое я говорил только что! – с горячностью воскликнул Бомзе. – **Именно воля** коллектива! Пятилетка в четыре года, даже в три – вот **тот** стимул, который... **Да** возьмите наконец даже мою жену. **Сами понимаете, домашняя** хозяйка, – и та отдает должное индустриализации. Черт возьми! **На** глазах вырастает новая жизнь!

Отойдя в сторону, он радостно помотал головой. Через минуту он уже держал за рукав кроткого **тов.** Борисохлебского и говорил:

– Вы правы. **Я** тоже так думаю. Зачем строить **магнитогорски**, совхозы, всякие комбайны, когда нет личной жизни, когда подавляется индивидуальность?

А еще через минуту его глуховатый голос булькал на площадке лестницы.

– Ну, то есть то же самое я говорил только что товарищу Борисохлебскому, **что** плакать об индивидуальности, о личной жизни, когда на наших глазах растут зерновые фабрики, **магнитогорски**, всякие комбайны, бетономешалки, когда коллектив...

В течение перерыва Бомзе, любивший духовное общение, успел покалякать с десятком сослуживцев. Сюжет каждой беседы можно было определить по выражению его лица, на котором горечь по поводу зажима индивидуальности быстро переходила в светлую улыбку

энтузиаста. Но каковы бы ни были чувства, обуревавшие Бомзе, **лицо** его не покидало выражение врожденного благородства. И все, начиная с выдержанных товарищей из месткома и кончая политически незрелым Кукушкинцем, считали Бомзе честным и, главное, принципиальным человеком. Впрочем, он и сам был такого же мнения о себе.

Новый звонок, извещавший о конце аврала, вернул служащих в номера. Работа возобновилась.

Собственно говоря, слова «работа возобновилась» не имели отношения к прямой деятельности **ГЕРКУЛЕС’а**, заключавшейся по уставу в различных торговых операциях в области лесо- и пиломатериалов. Последний год геркулесовцы, отбросив всякую мысль о скучных бревнах, диктовых листах, экспортных кедрах и прочих неинтересных вещах, предались **увлекательному** занятию: они боролись за **свое** помещение, за любимую свою гостиницу.

Все началось с маленькой бумажки, которую принес в брезентовой разносной книге ленивый скороход из **Коммунодела**.

«С получением сего, – значилось в бумажке, – предлагается Вам в недельный срок освободить помещение **быв.** Гостиницы “Каир” и передать со всем **быв.** гостиничным инвентарем в ведение гостиничного треста. Вам предоставляется помещение **быв.** акц. **об-ва** “Жесть и бекон”. Основание: **Постановление** Горсовета от **14/II-29** г.»

Эту бумажку вечером положили на стол перед лицом товарища Полыхаева, сидевшего в электрической тени пальм и сикомор.

– Как! – нервно вскричал начальник **ГЕРКУЛЕС’а**. – Они пишут мне «предлагается»! Мне, подчиненному непосредственно центру! Да что они, с ума там посходили! А?

– Они бы еще написали «предписывается», – поддала жару Серна Михайловна. – Муж-ланы.

Немедленно же был продиктован ответ самого решительного характера. Начальник **ГЕРКУЛЕС’а** наотрез отказывался очистить помещение.

– Будут знать в другой раз, что я им не ночной сторож, и никаких «предлагается» мне писать нельзя! – бормотал товарищ Полыхаев, вынув из кармана резиновую печатку со своим факсимиле и в волнении оттиснув подпись вверх ногами.

И снова ленивый скороход, на этот раз геркулесовский, потащился по солнечным улицам, останавливаясь у квасных будок, вмешиваясь во все уличные скандалы и отчаянно размахивая разносной книгой.

Через три дня Серна Михайловна доложила о прибытии товарища из коммунодела. Товарищ этот недавно только был переброшен из уезда в культурный центр и еще не понимал настоящего обращения. Он решил, во избежание бюрократической переписки, объясниться лично.

– Здорово! – сказал он, входя в пальмовый зал и задевая головой листья. – Что ты тут мудришь со своим помещением? Здание-то гостиничного типа, значит и должна быть гостиница. А ты переезжай в «Жесть и бекон». Помещение вполне удобное.

– Товарищ, – веско ответил начальник **ГЕРКУЛЕС’а** – я тебе не ночной сторож, я тебе не подчинен, и помещения не дам. Действуй по дистанции, через центр. А то «предлагается», «предписывается». Только волокиту разводишь! А вот я на тебя в контрольный орган подам!

Нетактичный товарищ из Коммунодела так удивился неожиданному повороту событий, что ушел, не прощаясь, и чуть не опрокинул при выходе какое-то колючее декоративное растение. И уже на другой день **ГЕРКУЛЕС’у** было велено немедленно покинуть гостиницу. Приказ был подписан председателем горисполкома.

– Это просто анекдот, – сказал Полыхаев, мрачно улыбаясь.

Целую неделю после этого геркулесовцы обсуждали создавшееся положение. Служащие сходились на том **мнении**, что Полыхаев не потерпит такого подрыва своего авторитета.

– Вы еще не знаете нашего Полыхаева, – говорили молодцы из финсчета. – Он мытый-перемытый. Его на голое постановление не возьмешь.

Молодцы не ошиблись.

Вскоре после этого товарищ Бомзе вышел из кабинета начальника, держа в руках спичек избранных сотрудников. Он шагал из отдела в отдел, наклонялся над **особой**, указанной в списке, и таинственно шептал:

– Маленькая **вечеринка**. По три рубля с души. Проводы Полыхаева.

– Как? – пугались избранные сотрудники. – Разве Полыхаев уходит? Снимают?

– Да нет. Едет на неделю в центр, хлопотать насчет помещения. Так смотрите не опаздывайте. Ровно в восемь, у меня.

Проводы прошли очень весело. Сотрудники преданно смотрели на Полыхаева, сидевшего с лафитничком в руке, ритмично били в ладоши и пели:

«Пей до дна, пей до дна, **пей до дна**, пейдодна, пей до дна, пейдодна», – **пели** до тех пор, куда любимый начальник не осушил изрядного количества лафитничков и высоких севастопольских стопок, после чего в свою очередь колеблющимся голосом начал песню: «По старой калужской дороге, на сорок девятой версте». Однако никто не узнал, что произошло на этой версте, так как Полыхаев, неожиданно для всех, перешел на другую песню:

С неба звездочка упала
Че-ты-рех-угольная,
За кого ты замуж вышла,
Дура малахольная.

После отъезда Полыхаева производительность труда в **ГЕРКУЛЕС’е** слегка понизилась. Смешно было бы работать в полную силу, не зная, останешься ли в этом помещении или придется со всеми канцпринадлежностями тащиться в «Жесть и бекон». Но еще смешнее было бы работать в полную силу после возвращения Полыхаева. Он вернулся, как **говори**л Бомзе, на щите, помещение осталось за **ГЕРКУЛЕС’ом**, и сотрудники посвящали служебные часы насмешкам над коммуналделом.

Повергнутое учреждение просило отдать хотя бы умывальники и панцирные кровати; но возбужденный успехом Полыхаев даже не ответил. Тогда схватка возобновилась с новой силой. В центр летели жалобы. Опровергать их Полыхаев выезжал лично. Все чаще на квартире Бомзе слышалось победное «пейдодна», и все более широкие слои сотрудников втягивались в работу по борьбе за помещение. Постепенно забывались лесо- и пиломатериалы. Когда Полыхаев находил вдруг у себя на столе бумажку, касающуюся экспортных кедров или диктовых листов, он так поражался, что некоторое время даже не понимал, чего от него хотят. Сейчас он был поглощен выполнением чрезвычайно важной задачи – переманивал к себе на высший оклад двух особенно опасных коммуналдельцев.

– Вам повезло, – говорил Остап своему спутнику, – **вы** присутствуете при **замечательном** событии: Остап Бендер идет по горячему следу. Учитесь **властвовать собой**. Мелкая уголовная сошка, вроде Паниковского, написала бы **Корейке** письмо: «Положите во дворе под мусорный ящик **600** рублей. **Иначе** будет плохо». **И** внизу пририсовала бы крест, череп и свечу. Соня Золотая Ручка, достоинств которой я отнюдь не желаю умалить, в конце концов прибегла бы к обыкновенному хипесу, что принесло бы ей тысячи полторы. Дело женское. Возьмем, наконец, корнета Савина. Аферист выдающийся! Как говорится, негде пробы ставить! А что сделал бы он? Приехал бы к **Корейке** на квартиру под видом болгарского царя, наскандалил бы в домоуправлении и испортил бы все дело. **А я**, как видите, не тороплюсь.

Мы сидим в Черноморске уже неделю, а я только сегодня иду на первое свидание... Ага! **Вот** и финсчетовый зал. Ну, бортмеханик, покажите мне больного. Ведь вы специалист по **Корейке**.

Они вошли в гогочущий, наполненный посетителями зал, и Балаганов повел Бендера в угол, где за желтой перегородкой сидели Чеважевская, Корейко, Кукушкинд и Дрейфус. Балаганов уже поднял руку, чтобы указать ею миллионера, когда Остап сердито шепнул:

– Вы бы еще закричали во всю глотку: «Вот он, богатей! Держите его!» Спокойствие. Я угадаю сам. Который же из четырех.

Остап уселся на прохладный мраморный подоконник и, по-детски болтая ногами, принялся рассуждать.

– Девушка не в счет. Остаются трое: красномордый подхалим с белыми глазами, старичок-боровичок в железных очках и толстый барбос серьезнейшего вида. Старичка-боровичка я с негодованием отмечаю. Кроме ваты, которой он заткнул свои мохнатые уши, никаких ценностей у него не имеется. Остаются двое: **Барбос** и белоглазый подхалим. Кто же из них Корейко? Надо подумать.

Остап вытянул шею и стал сравнивать кандидатов. Он так быстро вертел головой, словно следил за игрой в теннис, провожая **взглядом** каждый мяч.

– Знаете, бортмеханик, – сказал он наконец, – толстый барбос больше подходит к роли подпольного миллионера, нежели белоглазый подхалим. Вы обратите внимание на тревожный блеск в глазах барбоса. Ему не сидится на месте, ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он – собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона. А тот **другой**, белоглазый, просто ничтожество, советский мышонок. У него, конечно, есть состояние – **12 рублей** в сберкассе, и предел его ночных грез – покупка волосатого пальто с телячьим воротником. **Это не** Корейко. **Это мышь**, которая...

Но тут полная блеска речь великого комбинатора была прервана мужественным криком, который донесся из глубин финсчетового зала и, несомненно, принадлежал работнику, имеющему право кричать.

– Товарищ Корейко! Где же цифровые данные о задолженности нам **Коммуноотдела**? Товарищ Полыхаев срочно требует!

Остап толкнул Балаганова ногой. Но барбос спокойно продолжал скрипеть пером. Его лицо, носившее характернейшие черты Шейлока, Гарпагона и Скупого рыцаря, не **дрогнуло**. Зато красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтой о пальто с телячьим воротником, проявил **необыкновенное** оживление. Он хлопотливо застучал ящиками стола, схватил какую-то бумажонку и быстро побежал на зов.

Великий комбинатор крикнул и испытующе посмотрел на Балаганова. **Первенец лейтенанта Шмидта, как видно, еще не научился властвовать над собой. Он** засмеялся.

– Да, – сказал Остап после некоторого молчания. – Этот денег на тарелочке не принесет. Разве только я очень уж попрошу. Объект, достойный уважения. Теперь скорее на воздух! **Пора войти в соприкосновение с противником.** В моем мозгу родилась забавная комбинация. Сегодня вечером мы, с божьей помощью, впервые потрогаем господина Корейко за вымя! Трогать будете вы, Шура!

Глава двенадцатая. Теплая компания: Гомер, Мильтон и Паниковский

Инструкция была самая простая:

Случайно встретиться с гражданином Корейко на улице.

Не бить его ни под каким видом и вообще не применять физического воздействия.

Отобрать все, что будет обнаружено в карманах поименованного гражданина.

Об исполнении донести.

Несмотря на исключительную простоту и ясность указаний, сделанных великим комбинатором, Балаганов и Паниковский завели жаркий спор. Сыновья лейтенанта сидели на зеленой скамейке в городском саду, значительно поглядывая на подъезд **ГЕРКУЛЕС’а**. Препираясь, они не замечали даже, что ветер, сгибавший пожарную струю фонтана, сыплет на них сеянную водичку. Они только дергали головами, бессмысленно смотрели на чистое небо и продолжали спорить. Паниковский, который по случаю жары заменил толстую куртку **пожарника** ситцевой рубашонкой с отложным воротником, держался высокомерно. Он очень гордился возложенным на него поручением.

– Только кража, – говорил он.

– Только ограбление, – возражал Балаганов, который тоже был горд доверием командора **и собирался блеснуть**.

– Вы жалкая, ничтожная личность, – заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника.

– А вы калека, – заметил Балаганов. – Сейчас **я начальник**.

– Кто начальник?

– Я начальник. Мне поручено.

– Вам?

– Мне.

– Тебе?

– А кому же еще? Уж не тебе ли?

И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего **ни с кражей, ни с ограблением**. Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: «А ты кто такой!» Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы.

Но драки не произошло. Когда наступил наиболее подходящий момент для нанесения первой пощечины, Паниковский вдруг убрал руки и согласился считать Балаганова своим непосредственным начальством. Вероятно, он вспомнил, что его часто били отдельные лица и целые коллективы и что при этом ему бывало очень больно. Захватив власть в свои руки, Балаганов сразу смягчился.

– Почему бы не ограбить? – сказал он менее настойчиво. – Разве так трудно? Корейко вечером идет по улице. Темно. Я подхожу с левой руки, **вы** подходите справа. Я толкаю его в левый бок, вы толкаете в правый. Этот дурак останавливается и говорит: «Хулиган». Мне. «Кто хулиган?» – спрашиваю я. И вы тоже спрашиваете, кто хулиган, и надавливаете справа. Тут я даю ему по морд... Нет, бить нельзя.

– В том-то и дело, что бить нельзя! – лицемерно вздохнул Паниковский. – Бендер не позволяет.

– Да я сам знаю!.. В общем, я хватаю его за руки, а вы смотрите, нет ли в карманах чего лишнего. Он, как водится, кричит «**Милиция!**», и тут я его... **ах** ты, черт возьми, нельзя бить!.. В общем, мы уходим домой. Ну, как план?

Но Паниковский уклонился от прямого ответа. Он взял из рук Балаганова резную курортную тросточку с рогаткой вместо набалдашника и, начертив прямую линию на песке, сказал:

– Смотрите. Во-первых, ждать до вечера. Во-вторых...

И Паниковский от правого конца прямой повел вверх волнистый перпендикуляр.

– Во-вторых, он может сегодня вечером просто не выйти на улицу. А если даже выйдет, то...

Тут Паниковский соединил обе линии третьей, так что на песке появилось нечто похожее на треугольник, и закончил:

– Кто его знает? Может быть, он будет прогуливаться в большой компании. Как вам это покажется?

Балаганов с уважением посмотрел на треугольник. Доводы Паниковского показались ему не особенно убедительными, но в треугольнике чувствовалась такая правдивая безнадежность, что Балаганов поколебался. Заметив это, Паниковский не стал мешкать.

– Поезжайте в Киев! – сказал он неожиданно. – И тогда вы поймете, что я прав. Обязательно поезжайте в Киев.

– Какой там Киев? – пробормотал Шура. – Почему?

– Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. **Спросите.**

– Что вы пристаёте? – хмуро **спросил** Балаганов.

– Нет, вы спросите! – требовал Паниковский. – Поезжайте и спросите. И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Ведь я был богатый человек. У меня была семья и на столе никелированный самовар. А что меня кормило? Синие очки и палочка.

Он вынул из кармана картонный футляр, оклеенный черной бумагой в тусклых серебряных звездочках, и показал синие очки.

– Вот этими очками, – сказал он со вздохом, – я кормился много лет. Я выходил в очках и с палочкой на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники.

– Почему же вы бросили это дело? – спросил Балаганов, оживившись.

– Революция! – ответил бывший слепой. – Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не **видал** хуже народа! Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры. И вот, Балаганов, на старости лет пришлось сделаться аферистом. Но для такого экстренного дела можно пустить в ход мои старые очки. Это гораздо вернее ограбления.

Через пять минут из общественной уборной, обсаженной табаком и мятой, вышел слепец в синих очках. Задрав подбородок в небо и мелко постукивая перед собой курортной палочкой, он направился к выходу из сада. Следом за ним двигался Балаганов. Паниковского нельзя было узнать. Отогнув назад плечи и осторожно ставя ноги на тротуар, он вплотную подходил к домам, **стучал палочкой по водопроводному желобу**, натываясь на прохожих и, глядя сквозь них, шествовал дальше. Он работал настолько добросовестно, что даже смял большую очередь, голова которой упиралась в столбик с надписью «Остановка автобуса». Балаганов только диву давался, глядя на бойкого слепого.

Паниковский злодействовал до тех пор, покуда из геркулесовского подъезда не вышел Корейко. Балаганов заметался. Сначала он подскочил слишком близко к месту действия, потом отбежал слишком далеко. И лишь после всего этого занял удобную для **наблюдений** позицию у фруктового киоска. **Он почувствовал то самое наслаждение битвой, то герои-**

ческое упоение, о котором с небрежной простотой рассказывают на вечеринках люди, якобы ходившие в штыковую атаку. Однако во рту у него почему-то появился **препротивный** вкус, словно бы он полчаса сосал медную дверную ручку. Но, взглянув на эволюции Паниковского, он успокоился.

Он увидел, что слепой повернулся **фронтон**ом к миллионеру, зацепил его палочкой по ноге и ударил плечом. После этого они, видимо, обменялись несколькими словами. Затем Корейко улыбнулся, взял слепого под руку и помог ему сойти на мостовую. Для большей правдоподобности Паниковский изо всех сил колотил палкой по булыжникам и задира л голову, будто он был взнуздан. Дальнейшие действия слепого отличались такой чистотой и точностью, что Балаганов почувствовал даже **легкую** зависть. Паниковский обнял своего спутника за талию. Его рука скользнула по левому боку Корейко и на некую долю секунды задержалась над парусиновым карманом миллионера-конторщика.

«Ну, ну! – шептал Балаганов. – Давай, старик, давай!»

Но в то же мгновение блеснули **какие-то** стекла, тревожно промычала груша, затряслась земля, и большой белый автобус, еле удержавшись на колесах, резко осадил на середине мостовой. Одновременно с этим раздались два крика.

– Идиот! Автобуса не видит! – визжал Паниковский, выскочив из-под колеса и грозя провожатому сорванными с носа очками.

– Он не слепой! – удивленно вскричал Корейко. – Ворюга!

Все заволочло синим дымом, автобус покати л дальше, и, когда бензиновая завеса разодралась, Балаганов увидел, что Паниковский окружен небольшой толпой граждан. Вокруг мнимого слепого началась какая-то возня. Балаганов подбежал поближе. По лицу Паниковского бродила безобразная улыбка. Он был странно безучастен ко всему происходящему, хотя **левое** ухо его **стало** таким рубиновым, что, вероятно, светилось бы в темноте и при его свете можно было **бы проявлять** фотографические пластинки.

Расталкивая сбегавшихся отовсюду граждан, Балаганов бросился в гостиницу «Карлсбад».

Великий комбинатор сидел за бамбуковым столиком и писал.

– Паниковского бьют! – закричал Балаганов, картинно появляясь в дверях.

– Уже? – деловито спросил Бендер. – Что-то очень быстро.

– Паниковского бьют! – с отчаянием повторил рыжий Шура. – Возле **ГЕРКУЛЕС’а**.

– Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? – строго сказал Остап. – Давно бьют?

– Минут пять.

– Так бы сразу сказали. Вот вздорный старик. Ну, пойдем, полюбуемся. По дороге расскажем.

Когда великий комбинатор прибыл к месту происшествия, Корейко уже не было, но вокруг Паниковского колыхалась великая толпа, перегородившая улицу. Автомобили нетерпеливо кричали, упершись в людской массив. Из окон амбулатории смотрели санитарки в белых халатах. Бегали собаки с выгнутыми сабельными хвостами. В городском саду перестал бить фонтан. Решительно вздохнув, Бендер втиснулся в толпу.

– Пардон, – говорил он, – еще пардон! Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло, **скорей** бегите, он еще там лежит! Пропустите экспертов, вы, мужчина. Пусти, тебе говорят, лишенец!

Применяя таким образом политику кнута и пряника, Остап пробрался к центру, где томился Паниковский. К этому времени при свете **правого** уха нарушителя конвенции тоже можно было бы производить **различного рода** фотографические работы. **Увидав** командора, Паниковский жалобно понурился.

– Вот этот? – сухо спросил Остап, толкая Паниковского в спину.

– Этот самый! – радостно подтвердили многочисленные правдолюбцы. – Своими глазами видели.

Остап призвал граждан к спокойствию, вынул из кармана записную книжку и, посмотрев на Паниковского, властно произнес:

– Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. Свидетели! Записывайтесь!

Казалось бы, граждане, проявившие такую активность в поимке Паниковского, не замедлят уличить преступника своими показаниями. На самом же деле при слове «свидетели» все правдолюбцы **как-то** поскучнели, глупо засуетились и стали пятиться. В толпе образовались промоины и воронки. Она **стала разваливаться** на глазах.

– Где же свидетели? – повторил Остап.

Началась паника. Работая локтями, свидетели выбирались прочь, и в минуту улица приняла свой обычный вид. **Заскучавшие автомобили дали газу**. Окна амбулатории захлопнулись. Собаки принялись внимательно осматривать основания тротуарных тумб, и в городском саду с нарзанным визгом снова поднялась струя фонтана.

Убедившись, что улица очищена и что Паниковскому уже не грозит опасность, великий комбинатор ворчливо сказал:

– Бездарный старик! Неталантливый сумасшедший! Еще один великий слепой выискался – Паниковский! Гомер, Мильтон и Паниковский! Теплая компания! А Балаганов! Тоже – матрос с разбитого корабля! Паниковского бьют, Паниковского бьют! А сам!.. Идемте в городской сад. Я вам устрою сцену у фонтана!

У фонтана Балаганов сразу же переложил всю вину на Паниковского. Оскандалившийся слепой указывал на свои **расшатанные** в годы лихолетья нервы и кстати заявил, что во всем виноват Балаганов, личность, как известно, жалкая и ничтожная. Братья тут же принялись отпихивать друг друга ладонями. Уже послышались однообразные **возгласы** «А ты кто такой?», уже вырвалась из очей Паниковского крупная слеза, предвестница генеральной драки, когда великий комбинатор, сказав **«Брек!»**, развел противников, как судья на ринге.

– Боксировать будете по выходным дням, – промолвил он, – **преlestная** пара: Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы. Однако, господа чемпионы, работники из вас, как из собачьего хвоста – сито. Это кончится плохо. Я вас уволю, тем более, что ничего социально ценного вы собою не представляете.

Паниковский и Балаганов, позабыв о ссоре, принялись божиться и уверять, что сегодня же к вечеру во что бы то ни стало обыщут Корейко. Бендер только усмехался.

– Вот увидите! – хорохорился Балаганов. – Нападение на улице! Под покровом ночной темноты! Верно, Михаил Самуэлевич?

– **Честное слово**, – поддержал Паниковский, – **мы** с Шурой... **Не** беспокойтесь. Вы имеете дело с Паниковским!

– Это меня и печалит, – сказал Бендер, – хотя, пожалуйста... Как вы говорите? Под покровом ночной темноты? Устраивайтесь под покровом. Мысль, конечно, жиденькая. Да и оформление тоже, вероятно, будет убогое.

– **Идемте, Михаил Самуэлевич!**

Балаганов взял Паниковского за руку, и оба быстро удалились, провожаемые задумчивым взглядом великого комбинатора.

Им повезло. После нескольких часов уличного дежурства объявились наконец все необходимые данные: покров ночной темноты и сам пациент, вышедший с девушкой из дома, где жил старый ребусник. Девушка **не входила в план, но братья-разбойники надеялись, что она где-нибудь отвалится**. Пока что пришлось последовать за гуляющими, которые направились к морю.

Горящий обломок луны низко висел над остывающим берегом. На скалах сидели черные базальтовые, навек обнявшиеся парочки. Море шушукалось о любви до гроба, о сча-

стве без возврата, о муках сердца и тому подобных неактуальных мелочах. Звезда говорила с звездой по азбуке Морзе, зажигаясь и потухая. Световой туннель прожектора соединял берега залива. Когда он исчез, на его месте долго еще держался черный столб.

– Я устал, – хныкал Паниковский, тащась по обрывам за Александром Ивановичем и его дамой. – Я старый. Мне трудно.

Он спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. Ему хотелось на постоянный двор, к домовитому Козлевичу, с которым так приятно попить чаю и покалякать о всякой всячине.

И в **этот** момент, когда Паниковский твердо уже решил идти домой, предложив Балаганову довершить начатое дело одному, впереди **послышалось**:

– Как тепло! Вы не купаетесь ночью, Александр Иванович? Ну, тогда подождите здесь. Я только окунусь – и назад!

Послышался шум сыплющихся с обрыва камешков, белое платье исчезло, и Корейко остался один.

– Скорей! – шепнул Балаганов, дергая Паниковского за руку. – Значит, я захожу с левой стороны, а вы – справа. Только живее!

– Я – слева, – трусливо сказал нарушитель конвенции.

– Хорошо, хорошо, вы – слева. Я толкаю его в левый бок, нет, в правый, а вы жмете слева.

– Почему слева?

– Вот еще... Ну, справа! Он говорит: «**Хулиганы**», а вы отвечаете: «Кто хулиган?»

– Нет, вы первый отвечаете.

– Хорошо! Все Бендеру скажу! Пошли, пошли! Значит, вы слева!..

И доблестные сыны лейтенанта Шмидта, отчаянно трусая, приблизились к Александру Ивановичу.

План был нарушен в самом же начале. Вместо того, чтобы, согласно диспозиции, зайти с правой стороны и толкнуть миллионера в правый бок, Балаганов потоптался на месте и неожиданно сказал:

– Позвольте прикурить.

– Я не курю, – холодно ответил Корейко.

– Так, – глупо молвил Шура, озираясь на Паниковского. – А который час, вы не знаете?

– Часов двенадцать.

– Двенадцать, – повторил Балаганов. – Гм... Понятия не имел.

– Теплый вечер, – заискивающе сказал Паниковский.

Наступила пауза, во время которой неистовствовали сверчки. Луна побелела, и при ее свете можно было заметить хорошо развитые плечи Александра Ивановича. Паниковский не выдержал напряжения, зашел за спину Корейко и визгливо крикнул:

– Руки вверх!

– Что? – удивленно спросил Корейко.

– Руки вверх! – повторил Паниковский упавшим голосом.

В тот же час он получил короткий, очень болезненный удар в плечо и упал на землю. Когда он поднялся, Корейко уже сцепился с Балагановым. Оба тяжело дышали, словно перетаскивали рояль. Снизу донесся русалочий смех и плеск. **Дерущиеся стукались головами и оживленно молотили кулаками.**

– Что **ж** вы меня бьете? – надрылся Балаганов. – **Паниковский!**..

– Я тебе покажу, который час! – шипел Корейко, вкладывавший в свои удары вековую ненависть богача к грабителю.

Паниковский на четвереньках подобрался к месту побоища и сзади запустил обе руки в карманы **скромного** геркулесовца. Корейко лягнул его ногой, но было уже поздно. Железная

коробочка от папирос «Кавказ» перекидывала из левого кармана в руки Паниковского. Из другого кармана сыпались на землю бумажонки и членские книжечки.

– Бежим! – крикнул Паниковский откуда-то из темноты.

Последний удар Балаганов получил **уже** в спину.

Через несколько минут **слегка** помятый и взволнованный Александр Иванович увидел высоко над собою две лунные, голубые фигуры. Они бежали по гребню горы **в направлении к городу**.

Свежая, пахнущая йодом Зося застала Александра Ивановича за странным занятием. Он стоял на коленях и, зажигая спички срывающимися пальцами, подбирал с травы бумажонки. Но, прежде чем Зося успела спросить, в чем дело, он уже нашел квитанцию на чемоданишко, покоящийся в камере хранения ручного багажа, между камышовой корзинкой с черешнями и байковым портпледом.

– Случайно выронил! – сказал он, напряженно улыбаясь и бережно пряча квитанцию.

О папиросной коробке «Кавказ» с десятью тысячами, которые он не успел переложить в чемодан, вспомнилось ему только при входе в город.

Он ужаснулся.

Нищий. Ночные телеграммы. Книга о миллионерах. Мнимый слепой. И наконец – нападение. Чертовщина продолжалась.

Покуда шла титаническая борьба на морском берегу, Остап Бендер решил, что пребывание в гостинице, на виду у всего города, выпирает из рамок затеянного **им** дела и придает ему ненужную официальность. Прочтя в черноморской **вечерке объявление** «Сд. пр. ком. в уд. в. н. м. од. ин. хол» и мигом сообразив, что объявление это означает – «Сдается прекрасная комната со всеми удобствами и видом на море одинокому интеллигентному холостяку», Остап подумал:

«Сейчас я, кажется, холост. Еще недавно старгородский **ЗАГС** прислал мне извещение о том, что брак мой с гражданкой Грицацовой расторгнут по заявлению с ее стороны и что мне присваивается добрачная фамилия О. Бендер. Что ж, придется вести добрачную жизнь. Я холост, одинок и интеллигентен. Комната безусловно останется за мной».

И, натянув на себя прохладные белые брюки, великий комбинатор отправился по указанному в объявлении адресу.

Глава тринадцатая. Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции

Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку.

Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Лежал он в подтяжках и зеленых носках, которые в Черноморске **называются** также карпетками.

Поголодав минут двадцать в таком положении, Лоханкин застонал, перевернулся на другой бок и посмотрел на жену. При этом зеленые карпетки описали в воздухе небольшую дугу. Жена бросала в крашеный дорожный мешок свое добро: фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и одно старое без хвоста, фетровый кивер со стеклянным полумесяцем, медные патроны с губной помадой и трикотажные рейтузы.

– Варвара! – сказал Лоханкин в нос.

Жена молчала, громко дыша.

– Варвара! – повторил он. – Неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?

– Да, – ответила жена. – Я уйду. Так надо.

– Но почему же, почему? – сказал Лоханкин с коровьей страстностью.

Его и без того крупные ноздри горестно зашевелились. Задрожала фараонская борода.

– Потому что я его люблю.

– А я как же?

– Васисуалий! Я еще вчера поставила тебя в известность. Я тебя больше не люблю.

– Но я! Я же тебя люблю, Варвара.

– Это твое частное дело, Васисуалий. Я уйду к Птибурдукову. Так надо.

– Нет! – воскликнул Лоханкин. – **Не** может один человек уйти, если другой его любит!

– Может, – раздраженно сказала Варвара, **глядя** в карманное зеркальце. – И вообще перестань душить, Васисуалий.

– В таком случае, я продолжаю голодовку! – закричал несчастный муж. – Я буду голодать до тех пор, пока ты не вернешься! День! Неделю! Год буду голодать!

Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.

– Так вот и буду лежать в подтяжках, – донеслось с дивана, – пока не умру. И во всем будешь виновата ты с **этим ничтожным** Птибурдуковым.

Жена подумала, **вздела** на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила.

– Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!

Этого Лоханкин не снес. Он дернулся, словно электрический разряд пробил его во всю длину, от подтяжек до зеленых карпеток.

– Ты самка, Варвара, – тягуче заныл он. – Ты публичная девка!

– Васисуалий, ты дурак! – спокойно ответила жена.

– Волчица ты, – продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. – Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом.

Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать.

– Васисуалий. Перестань паясничать! – сказала волчица, застегивая мешок. – Посмотри, на кого ты похож. Хоть бы умылся! Я уйду. **Так надо.** Прощай, Васисуалий! Твою хлебную карточку я оставляю на столе.

И Варвара, подхватив мешок, пошла к двери. Увидев, что заклинания не помогли, Лоханкин живо вскочил с дивана, подбежал к столу и с криком: «Спасите!» – порвал карточку. Варвара испугалась. Ей представился муж, иссохший от голода, с затихшими пульсами и холодными конечностями.

– Что ты сделал? – сказала она. – Ты не смеешь голодать!

– Буду, – упрямо заявил Лоханкин.

– Это глупо, Васисуалий. Это бунт индивидуальности!

– И этим я горжусь! – ответил Лоханкин подозрительным по ямбу тоном. – Ты недооцениваешь **значение** индивидуальности и вообще интеллигенции.

– Общественность тебя осудит!

– Пусть осудит, – решительно сказал Васисуалий и снова повалился на диван.

Варвара молча швырнула мешок на пол, поспешно стащила с головы соломенный капор и, бормоча: «**Взбесившийся самец!**», «тиран» и «собственник», торопливо сделала бутерброд с баклажанной икрой.

– Ешь! – сказала она, поднося пищу к пунцовым губам мужа. – Слышишь, Лоханкин? Ешь сейчас же! Ну!

– Оставь меня, – сказал он, отводя руку жены.

Пользуясь тем, что рот голодающего на мгновение открылся, Варвара ловко **втиснула** бутерброд в отверстие, образовавшееся между фараонской бородкой и подбритыми московскими усиками. Но голодающий сильным ударом языка **вытряхнул** пищу наружу.

– Ешь, негодяй! – в отчаянии крикнула Варвара, тыча бутербродом. – Интеллигент!

Но Лоханкин отводил лицо **от бутерброда** и отрицательно мычал. Через несколько минут **разгорячившаяся и вымаранная** зеленой икрой Варвара отступила. Она села на свой мешок и заплакала ледяными слезами.

Лоханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный, косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два существенных достижения: большая белая грудь и служба. Сам Васисуалий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, к каковой социальной прослойке он причислял и себя. **Так что** продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме: «Васисуалий Лоханкин и его значение», «Лоханкин и трагедия русского либерализма» и «Лоханкин и его роль в русской революции». Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на **варварины** деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки **брокгаузского** энциклопедического словаря. Подолгу стаивал Васисуалий перед шкафом, переводя взоры с корешка на корешок. По ранжиру вытянулись там дивные образцы переплетного искусства: **большая** медицинская энциклопедия, «Жизнь животных» **Брэма**, **гнедичевская** «История искусств», пудовый том «Мужчина и женщина», а также «Земля и люди» Элизе Реклю.

«Рядом с этой сокровищницей мысли, – неторопливо думал Васисуалий, – делаешься чище, как-то духовно растешь».

Придя к такому заключению, он радостно вздыхал, вытаскивал из-под шкафа «Родину» за 1899 год в переплете цвета морской волны с пеной и брызгами, рассматривал картинки англо-бурской войны, объявление неизвестной дамы под названием: «Вот как я увеличила свой бюст на шесть дюймов» и прочие интересные **штуки**.

С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества.

Вечером пришел Птибурдуков. Он долго не решался войти в комнаты Лоханкиных и мыкался по кухне среди длиннопламенных примусов и протянутых накрест веревок, на которых висело сухое гипсовое белье с подтеками синьки. Квартира оживилась. Хлопали

двери, пронеслись тени, светились глаза жильцов, и где-то страстно вздохнули: «**Мужчина пришел**».

Птибурдуков снял фуражку, дернул себя за инженерский ус и, наконец, решился.

– Варя, – умоляюще сказал он, входя в комнату, – мы же условились...

– Полюбуйся, Сашук! – закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. – Вот он! Лежит! Самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот **барбос** объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти!

Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб.

– Птибурдуков, тебя я презираю, – заныл он. – Жены моей касаться ты не смей, ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня?..

– Товарищ Лоханкин! – ошеломленно сказал Птибурдуков, хватаясь за усы.

– Уйди, уйди, тебя я ненавижу, – продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве, – ты гнида жалкая и мерзкая притом! Не инженер ты – хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!

– Как вам не стыдно, Васисуалий Андреич, – сказал заскучавший Птибурдуков, – даже просто глупо. Ну, подумайте, что вы делаете? На втором году пятилетки...

– Он мне посмел сказать, что это глупо! Он, он, жену укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то **тебе** по вые, по шее то есть, вам я надаю.

– Больной человек, – сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия.

Но Варваре эти рамки были тесны. Она схватила со стола уже засохший зеленый бутерброд и подступила к голодающему. Лоханкин защищался с таким отчаянием, словно бы его собирались кастрировать. **Совестливый** Птибурдуков отвернулся и смотрел в окно на конский каштан, цветущий белыми свечками. Позади себя он слышал отвратительное мычание Лоханкина и крики Варвары: «Ешь, подлый человек! Ешь, крепостник!»

На другой день, расстроенная неожиданным препятствием, Варвара не пошла на службу. Голодающему стало хуже.

– Вот уже и рези в желудке начались, – **сообщал он печально**, – а там цинга на почве недоедания, выпадение волос и зубов...

Птибурдуков привел брата – военного врача. Птибурдуков-второй долго прикладывал ухо к туловищу Лоханкина и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движению мыши, залезшей в сахарницу. Во время осмотра Васисуалий глядел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами. Ему было очень жалко себя. Птибурдуков-второй посмотрел на Птибурдукова-первого и сообщил, что больному диеты соблюдать не надо. **Не** исключена рыба. Курить можно, конечно, соблюдая меру. Пить не советует, но для аппетита неплохо было бы вводить в организм рюмку хорошего портвейна. В общем, доктор плохо разобрался в душевной драме **Лоханкина**. Сановито отдуваясь и стуча сапогами, он ушел, заявив на прощание, что больному не возбраняется **даже** купаться в море и ездить на велосипеде.

Но больной не думал вводить в организм ни компота, ни рыбы, ни котлет, ни прочих разносолов. Он не пошел к морю купаться, а продолжал лежать на диване, осыпая окружающих бранчливыми ямбами. Варвара почувствовала к нему жалость. «Из-за меня голодает, – размышляла она с **удовлетворением**, – какая все-таки страсть! Способен ли Сашук на такое высокое чувство?» И она бросала беспокойные взгляды на **Сашука**, вид которого показывал, что любовные переживания не **мешают** ему регулярно вводить в организм обеды и ужины. И даже один раз, когда Птибурдуков вышел из комнаты, она назвала Васисуалия **беденьким**. При этом у рта **Васисуалия** снова появился **бутерброд**.

«Еще немного выдержки, – подумал Лоханкин, – и не видать Птибурдукову моей Варвары».

Он с удовольствием прислушивался к голосам из соседней комнаты.

– Он умрет без меня, – говорила Варвара, – придется нам подождать. Ты же видишь, что я сейчас не могу уйти.

Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах военного врача. Это было ужасно. На лице врача было покорное выражение, словно у коровы, которую доит деревенский вор. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась.

Желтое японское солнце светило в упор, затрачивая всю свою силу на освещение такой мелочишки, как граненая **пробочка** от пузырька с одеколоном «Турандот». Клеенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета, спиной к кровати, и громко чавкал. От нетерпения и жадности он наклонился, приотпывал ногой в зеленом **чулке** и издавал носом свистящие и хлюпающие звуки. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса. Если бы Варвара поймала мужа за этим занятием даже в лучшие времена их брачной жизни, то и тогда Васисуалию пришлось бы худо. Теперь же участь его была решена.

– Лоханкин! – сказала она ужасным голосом.

От испуга голодающий выпустил мясо, которое шлепнулось обратно в кастрюлю, подняв фонтанчик из капусты и морковных звезд. С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.

– Варвара! – сказал он в нос. – Неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?

Ответа не было.

– Волчица ты, – неуверенно объявил Лоханкин, – тебя я презираю, к Птибурдукову ты уходишь от меня...

Но было уже поздно. Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.

И в жизни Васисуалия Андреевича наступил период мучительных дум и моральных страданий. Есть люди, которые не умеют страдать, как-то не выходит. А если уж и страдают, то стараются проделать это как можно быстрее и незаметнее для окружающих. Лоханкин же страдал открыто, величаво, он хлестал свое горе чайными стаканами, он упивался им. Великая скорбь давала ему возможность лишний раз поразмыслить о значении русской интеллигенции, а равно о трагедии русского либерализма.

«А может быть, так надо, – думал он, – может быть, это искупление и я выйду из него очищенным. Не такова ли судьба всех, стоящих выше толпы, людей с тонкой конституцией. Галилей! Милюков! А. Ф. Кони! Да, да. Варвара права, так надо!»

Душевная депрессия не помешала ему, однако, дать в газету объявление о сдаче внаем второй комнаты.

«Это все-таки материально поддержит меня на первых порах», – решил Васисуалий.

И снова погрузился в туманные соображения о страданиях плоти и значении души, как источника прекрасного. От этого занятия его не могли отвлечь даже настоятельные указания соседей на необходимость тушить за собой свет в уборной. Находясь в расстройстве чувств, Лоханкин постоянно забывал это делать, что очень возмущало экономных жильцов.

Между тем **жильцы** большой коммунальной квартиры номер три, в которой обитал Лоханкин, считались людьми своенравными и известны были всему дому частыми скандалами. Квартиру номер три прозвали даже «Вороньей слободкой». Продолжительная совместная жизнь закалила этих людей, и они не знали страха. Квартирное равновесие поддерживалось блоками между отдельными жильцами. Иногда обитатели «Вороньей слободки» объединялись все вместе против какого-либо одного квартиранта, и плохо приходилось

такому квартиранту. Центростремительная сила сутяжничества подхватывала его, втягивала в канцелярии юрисконсульты, вихрем пронесла через прокуренные судебные коридоры **и в** камеры товарищеских и народных судов. И долго еще скитался непокорный **квартирант** в поисках правды, добираясь до самого всесоюзного старосты, товарища Калинина. И до самой своей смерти квартирант будет сыпать юридическими словечками, которых понаберется в разных присутственных местах, будет говорить не «наказывается», а «наказуется», не «поступок», а «деяние». **Себя** будет называть не «товарищ Жуков», как положено ему со дня рождения, а «потерпевшая сторона». Но чаще всего и с особенным наслаждением он будет произносить выражение «вчинить иск». И жизнь его, которая и прежде не текла молоком и медом, станет совсем **уж** дрянной.

Задолго до семейной драмы Лоханкиных летчик Севрюгов, к **несчастью** своему, проживавший в **буйной** квартире номер три, вылетел по срочной командировке Осоавиахима за Полярный круг. Весь мир, волнуясь, следил за полетом Севрюгова. Пропала без вести иностранная экспедиция, шедшая к полюсу, и Севрюгов должен был ее отыскать. Мир жил надеждой на успешные действия летчика. Переговаривались радиостанции всех материков, метеорологи предостерегали отважного Севрюгова от магнитных бурь, коротковолновики наполняли эфир **позывными**, и польская газета «Курьер **Поранный**», близкая к министерству иностранных дел, уже требовала расширения Польши до **границ** 1772 года. Целый месяц **железнодорожник номер три** летал над ледяной пустыней, и грохот его моторов был слышен во всем мире.

Наконец Севрюгов совершил то, что **совершенно** сбило с толку газету, близкую к польскому министерству иностранных дел. Он нашел затерянную среди торосов экспедицию, успел сообщить точное ее местонахождение, но после этого вдруг исчез сам. При этом известии земной шар переполнился криками **восторга**. Имя Севрюгова произносилось на трехстах двадцати языках и наречиях, включая сюда язык черноногих индейцев, портреты Севрюгова в звериных шкурах появились на каждом свободном листке бумаги. В беседе с представителями печати Габриэль д'Аннунцио заявил, что только что закончил новый роман и сейчас же вылетает на поиски отважного русского. Появился чарльстон: «Мне тепло с моей крошкой на полюсе». И старые московские халтурщики **Усышкин**-Вертер, Леонид Трепетовский и Борис Аммиаков, издавна практиковавшие литературный демпинг и выбрасывавшие на рынок свою продукцию по бросовым ценам, уже писали обозрение под **названием** «А вам не холодно?». Одним словом, наша планета переживала великую сенсацию.

Но еще большую сенсацию вызвало это сообщение в квартире номер три, находящейся в доме номер восемь по Лимонному переулку и известной больше под именем «Вороньей слободки».

– Пропал наш квартирант! – радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом **валяный** сапог. – Пропал, миленький. А не летай, не летай. Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.

И он переворачивал валенок над стонущим огнем.

– Долетался, желтоглазый! – бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и, хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. – Вот и комната освободилась, площадь.

Бабушка первой произнесла слово, которое давно уже тяжелило сердца обитателей «Вороньей слободки». О комнате пропавшего летчика заговорили все: **и бывший князь**, а ныне трудящийся Востока, гражданин Гигиенишвили, и Дуня, арендовавшая койку в комнате тети Паши, и сама тетя Паша – торговка и горькая пьяница, и Александр Дмитриевич Суховейко, **бывший** камергер двора его императорского величества, которого в квартире

звали просто Митричем, и прочая квартирная сошка во главе с ответственной съемщицей Люцией Францевной Пферд.

– Что ж, – сказал Митрич, поправляя золотые очки, когда кухня **наполнилась** жильцами, – раз товарищ исчез, надо делить. Я, например, давно имею право на дополнительную площадь.

– Почему ж мужчине площадь? – возразила коечница Дуня. – Надо женщине. У меня, может, другого такого случая в жизни не будет, чтоб мужчина вдруг пропал.

И долго она еще **толкалась** между собравшимися, приводя различные доводы в свою пользу и часто произнося слово «**мущина**».

Во всяком случае, жильцы сходились на том, что комнату нужно забрать немедленно.

В тот же день мир задрожал от новой сенсации. Смелый Севрюгов нашелся. Нижний Новгород, Квебек и Рейкьявик услышали позывные Севрюгова. Он сидел с подмятым шасси на **84** параллели. Эфир сотрясся от сообщений: «Смелый русский чувствует себя отлично», «Севрюгов шлет рапорт президиуму Осоавиахима», «Чарльз Линдберг считает Севрюгова лучшим летчиком в мире», «Семь ледоколов вышли на помощь Севрюгову и обнаруженной им экспедиции». В промежутках между этими сообщениями газеты печатали только фотографии каких-то ледяных кромок и берегов. Без конца слышались слова: «Севрюгов, Нордкап, параллель, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, Кингсбей, пимы, горючее, Севрюгов».

Уныние, охватившее при этом известии «Воронью слободку», вскоре сменилось спокойной уверенностью. Ледоколы продвигались медленно, с трудом разбивая ледяные поля.

– Отобрать **комнату** и все! – говорил Никита Пряхин. – Ему хорошо там на льду сидеть, а тут, например, Дуня все права имеет. Тем более по закону жилец не имеет права больше двух месяцев отсутствовать.

– Как вам не стыдно, гражданин Пряхин! – возражала Варвара, в то время еще Лоханкина, размахивая «Известиями». – Ведь это герой! Ведь он сейчас на **84** параллели...

– Что еще за параллель такая, – смутно отзывался Митрич, – может, **никакой такой** параллели и вовсе нету. Этого мы не знаем. В гимназиях не обучались.

Митрич говорил сухую правду. В **гимназиях** он не обучался. Он окончил Пажеский корпус.

– Да вы поймите! – кипятилась Варвара, поднося к носу камергера газетный лист. – Вот статья. Видите? «Среди торосов и айсбергов».

– Айсберги! – говорил Митрич насмешливо. – Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. Верно Пряхин говорит. Отобрать – и все. Тем более что вот и Люция Францевна подтверждает насчет закона.

– А вещи на лестницу выкинуть, к чертям собачьим! – грудным голосом воскликнул бывший князь, а ныне трудящийся Востока, гражданин Гигиенишвили.

Варвару быстро заклевали, и она побежала жаловаться мужу.

– А может, так надо, – ответил муж, поднимая фараонскую **бородку**, – может, устами простого мужика Митрича говорит великая сермяжная правда. Вдумайся только в роль русской интеллигенции, в ее значение...

В тот великий день, когда ледоколы достигли наконец палатки Севрюгова, гражданин Гигиенишвили взломал замок на севрюговской двери и выбросил в коридор все имущество героя, в том числе висевший на стене красный пропеллер. В комнату вселилась Дуня, немедленно впустившая к себе за плату шестерых коечников. На завоеванной площади всю ночь длился пир. Никита Пряхин играл на гармонии, и камергер Митрич плясал **русскую** с пьяной тетей Пашей.

Будь у Севрюгова слава хоть чуть поменьше той всемирной, которую он приобрел своими замечательными полетами над Арктикой, не увидел бы он никогда своей комнаты, засосала бы его центростремительная сила сутяжничества, и до самой своей смерти называл бы он себя не «отважным Севрюговым», не «ледовым героем», а «потерпевшей стороной». Но на этот раз «Воронью слободку» основательно прищемили. Комнату вернули (Севрюгов вскоре переехал в новый дом), а бравый Гигиенишвили за самоуправство просидел в тюрьме четыре месяца и вернулся оттуда злой как черт.

Именно он сделал осиротевшему Лоханкину первое представление о необходимости регулярно тушить за **собой** свет, покидая уборную. При этом глаза у него были решительно дьявольские. Рассеянный Лоханкин не оценил важности демарша, предпринятого гражданином Гигиенишвили, и таким образом проморгал начало конфликта, который привел вскоре к ужасающему, небывалому даже в жилищной практике, событию.

Вот как обернулось это дело. Васисуалий Андреевич по-прежнему забывал тушить свет в помещении общего пользования. Да и мог ли он помнить о таких мелочах быта, когда ушла жена, когда остался он без копейки, когда не было еще точно уяснено все многообразное значение русской интеллигенции. Мог ли он думать, что жалкий бронзовый светитшко восьмисвечевой лампы вызовет в соседях такое большое чувство. Сперва его предупреждали по нескольку раз в день. Потом прислали письмо, составленное Митричем и подписанное всеми жильцами. И, наконец, перестали предупреждать и уже не слали писем. Лоханкин еще не постигал значительности происходящего, но уже смутно почудилось ему, что некое кольцо готово сомкнуться.

Во вторник вечером прибежала тетипашина девчонка и одним духом отрапортовала:
– Они последний раз говорят, чтоб тушили.

Но как-то так случилось, что Васисуалий Андреевич снова забылся, и лампочка продолжала преступно светить сквозь паутину и грязь. Квартира вздохнула. Через минуту в дверях лоханкинской комнаты показался гражданин Гигиенишвили. Он был в голубых полотняных сапогах и в плоской шапке из коричневого барашка.

– Идем, – сказал он, маня Васисуалия пальцем.

Он крепко взял его за руку и повел по темному коридору, где Васисуалий Андреевич почему-то затосковал и стал даже легонько брыкаться, и ударом **по спине** вытолкнул его на **середину** кухни. Уцепившись за бельевые веревки, Лоханкин удержал равновесие и испуганно оглянулся. Здесь собралась вся квартира. В молчании стояла здесь Люция Францевна Пфферд. Фиолетовые химические морщины лежали на властном лице ответственной съемщицы. Рядом с нею, пригорюнившись, сидела на плите пьяненькая тетя Паша. Усмехаясь, смотрел на оробевшего Лоханкина босой Никита Пряхин. С антресолей свешивалась голова ничьей бабушки. Дуня делала знаки Митричу. Бывший камергер двора **его императорского величества** улыбался, пряча что-то за спиной.

– Что? Общее собрание будет? – спросил Васисуалий Андреевич тоненьким голосом.

– Будет, будет, – сказал Никита Пряхин, приближаясь к Лоханкину. – **Все** тебе будет. Кофе тебе будет, какава. Ложись! – закричал он вдруг, дохнув на Васисуалия не то водкой, не то скипидаром.

– В каком смысле ложись? – спросил Васисуалий Андреевич, начиная дрожать.

– А что с ним говорить, с нехорошим человеком, – сказал гражданин Гигиенишвили.

И, присев на корточки, принялся шарить по талии Лоханкина, отстегивая подтяжки.

– На помощь! – шепотом **сказал** Васисуалий, устремляя безумный взгляд на Люцию Францевну.

– Свет надо было тушить, – сурово ответила гражданка Пфферд.

– Мы не буржуи электрическую энергию зря жечь, – добавил камергер Митрич, окуная что-то в ведро с водой.

– Я не виноват, – запищал Лоханкин, вырываясь из рук бывшего князя, а ныне трудящегося Востока.

– Все не виноваты, – бормотал Никита Пряхин, придерживая трепещущего жильца.

– Я же ничего такого не сделал.

– Все ничего такого не сделали.

– У меня душевная депрессия.

– У всех душевная.

– Вы не смеете меня трогать. Я малокровный.

– Все, все малокровные.

– От меня жена ушла! – надрывался Васисуалий.

– У всех жена ушла, – отвечал Никита Пряхин.

– Давай, давай, Никитушко, – хлопотливо молвил камергер Митрич, вынося к свету мокрые, блестящие розги, – **за** разговорами до свету не справимся.

Васисуалия Андреевича положили животом на пол. Ноги его молочно засветились.

Гражданин Гигиенишвили размахнулся изо всей силы, и розга тонко **пискнула** в воздухе.

– Mamочka! – **завизжал** Васисуалий.

– У всех мамочка! – наставительно сказал Никита, прижимая Лоханкина коленом.

И тут Васисуалий вдруг замолчал.

«А может, так надо, – подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты, – **может**, именно в этом искупление, очищение, великая жертва».

И покуда его пороли, покуда Дуня конфузливо смеялась, а бабушка покрикивала с антресолей: «Так его, болезного, так его, родименького», – Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду.

Последним взял розги Митрич.

– Дай-кося, я попробую, – сказал он, занося руку. – Надаю ему лозанов по филейным частям.

Но Лоханкину не пришлось отвесть камергерской лозы. В дверь черного хода постучали. Дуня бросилась открывать. (Парадный ход «Вороньей слободки» был давно заколочен по той причине, что жильцы никак не могли решить, кто первый должен мыть лестницу. По этой же причине была наглухо заперта и ванная комната.)

– Васисуалий Андреевич, вас незнакомый мужчина спрашивает, – сказала Дуня как ни в чем не бывало.

И все действительно увидели стоявшего в дверях незнакомца мужчину в белых джентльменских брюках. Васисуалий Андреевич живо вскочил, поправил свой туалет и с ненужной улыбкой обратил лицо к вошедшему Бендеру.

– Я вам не помешал? – учтиво спросил великий комбинатор, щурясь.

– Да, да, – пролепетал Лоханкин, шаркая **ножками**, – видите ли, тут я был, как бы вам сказать, немножко занят... Но... кажется... я уже освободился?..

И он искательно посмотрел по сторонам. Но в кухне уже не было никого, кроме тети Паши, заснувшей на плите во время экзекуции. На дощатом полу валялись отдельные прутья и белая полотняная пуговица с двумя дырочками.

– Пожалуйте ко мне.

– А может быть, я вас все-таки отвлек? – спросил Остап, очутившись в первой комнате Лоханкина. – Нет? Ну, хорошо. Так это у вас «Сд. пр. ком. в. уд. в. н. м. од. ин. хол.»? А она на самом деле «пр.» и имеет «в. уд.»?

– Совершенно верно, – оживился Васисуалий, – прекрасная комната, все удобства. И недорого возьму. Пятьдесят рублей в месяц.

– Торговаться я не стану, – вежливо сказал Остап, – но вот соседи... Как они?

– Прекрасные люди, – ответил Васисуалий, – и вообще все удобства. И цена дешевая.

– Но ведь они, кажется, ввели **в этой квартире** телесные наказания?

– Ах, – сказал Лоханкин проникновенно, – ведь в конце концов кто знает! Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!

– Сермяжная? – задумчиво повторил Бендер. – Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?

– Из пятого, – ответил Лоханкин.

– Золотой класс! Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни? Впрочем, мне все равно. **Завтра** я к вам переезжаю.

– А задаток? – спросил бывший гимназист.

– Вы не в церкви, вас не обманут, – **весело** сказал великий комбинатор. – Будет и задаток. С течением времени.

Глава четырнадцатая. Первое свидание

Когда Остап вернулся в гостиницу «Карлсбад» и, отразившись несчетное число раз в вестибюльных, лестничных и коридорных зеркалах, которыми так любят украшаться подобного рода учреждения, вошел к себе, его смутил господствовавший в номере беспорядок. Красное плюшевое кресло лежало кверху куцыми ножками, обнаруживая непривлекательную джутовую изнанку. Бархатная скатерть с позументами съехала со стола. Даже картина «Явление Христа народу» и та покосилась набок, потерявши в этом виде большую часть поучительности, которую вложил в нее художник. С балкона дул свежий пароходный ветер, передвигая разбросанные по кровати денежные знаки. Между ними валялась железная коробка от папирос «Кавказ». На ковре, сцепившись и выбрасывая ноги, молча катались Паниковский и Балаганов.

Великий комбинатор брезгливо перешагнул через дерущихся и вышел на балкон. Внизу, на бульваре, безумно лепетали гуляющие, **перемалывая** под ногами гравий, реяло над черными кленами слитное дыхание симфонического оркестра. В темной глубине порта кичился огнями и гремел железом строящийся холодильник. За брекватером ревел и чего-то требовал невидимый пароход, вероятно, просился в гавань.

Возвратившись в номер, Остап увидел, что молочные братья уже сидят друг против друга на полу и, устало отпихиваясь ладонями, бормочут: «А ты кто такой?»

– Не поделились? – спросил **Остап**, задерживая портьеру.

Паниковский и Балаганов быстро вскочили на ноги и принялись рассказывать. Каждый из них приписывал весь успех себе и чернил действия другого. Обидные для себя подробности они, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.

– Ну, довольно, – молвил Остап, – **не** стучите лысиной по паркету. Картина битвы мне ясна. Так вы говорите, с ним была девушка? Это хорошо. Итак, маленький служащий запросто носит в кармане... вы, кажется, уже посчитали? Сколько там? Ого! Десять тысяч! **Жалование** господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. Но не помешал ли я вам? Вы что-то делали тут на полу? Вы делили деньги? Продолжайте, продолжайте, я посмотрю.

– Я хотел честно, – сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, – по справедливости. Всем поровну, по две с **половиной** тысячи.

И, разложив деньги на четыре **одинаковые** кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:

– Вам, мне, ему и Козлевичу.

– Очень хорошо, – заметил Остап. – А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.

Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал **Большой Королевский** пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна – большая, из чистых новеньких бумажек, вторая – такая же, но из бумажек погрязнее, и третья – маленькая и совсем грязная.

– Нам с вами по четыре тысячи, – сказал он Бендеру, – а Балаганову две. Он и на две не заработал.

– А Козлевичу? – спросил Балаганов, в гневе закрывая глаза.

– За что же Козлевичу? – завизжал Паниковский. – Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!

– Все? – спросил великий комбинатор.

– Все, – ответил Паниковский, не отводя глаз от пачки с чистыми бумажками. – Какой может быть в этот момент Козлевич?

– А теперь буду делить я, – по-хозяйски сказал Остап.

Он не спеша соединил кучки воедино, сложил деньги в железную коробочку, **а коробочку засунул в карман белых джентльменских брюк.**

– Все эти деньги, – заключил он, – будут сейчас же возвращены потерпевшему гражданину Корейко. Вам нравится такой способ дележки?

– Нет, не нравится! – вырвалось у Паниковского.

– Бросьте шутить, Бендер! – недовольно сказал Балаганов. – Надо разделить по справедливости.

– Этого не будет, – холодно сказал Остап. – И вообще, в этот полночный час я с вами шутить не собираюсь.

Паниковский всплеснул старческими лиловатыми ладонями. Он с ужасом посмотрел на великого комбинатора, отошел в угол и затих. Изредка только сверкал оттуда золотой зуб нарушителя конвенции.

У Балаганова сразу сделалось мокрое, как бы сварившееся на солнце, лицо.

– Зачем же мы работали? – сказал он, отдуваясь. – Так нельзя. Это... **Объясните...**

– Вам, – вежливо сказал Остап, – любимому сыну лейтенанта, я могу повторить только то, что я говорил в Арбатове. Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки. В мои четыреста честных способов отъема денег ограбление не входит, как-то не укладывается. И потом мы прибыли сюда не за десятью тысячами. Этих тысяч мне лично нужно по крайней мере пятьсот.

– Зачем же вы послали нас? – спросил Балаганов, остывая. – Мы старались...

– Иными словами, вы хотите спросить, известно ли почтенному командору, с какой целью он предпринял последнюю операцию? На это отвечу – да, известно. Дело в том...

В эту минуту в углу потух золотой зуб. Паниковский развернулся, опустил голову и с **криком** «А ты кто такой?» вне себя бросился на Остапа. Не переменяя позы и даже не повернув головы, великий комбинатор толчком **сбранного** каучукового кулака вернул взбесившегося нарушителя конвенции на прежнее место и продолжал:

– Дело в том, Шура, что это была проверка. У служащего с сорокарублевым **жалованьем** оказалось в кармане десять тысяч рублей, что несколько странно и дает нам большие шансы, позволяет, как говорят марафоны и беговые жуки, надеяться на куш. Пятьсот тысяч – это безусловно куш. И получим мы его так. Я возвращу **Корейке** десять тысяч, и **он возьмет**. Хотел бы я видеть человека, который не взял **бы своих** денег. И вот **тут** ему придет конец. Его погубит жадность. И едва только он сознается в своем богатстве, я возьму его голыми руками. Как человек умный, он поймет, что часть меньше целого, и отдаст мне эту часть из опасения потерять все. И тут, Шура, на сцену **появится** некая тарелочка с **некоей** каемкой...

– Правильно! – воскликнул Балаганов. – **Замечательно!**

В углу плакал Паниковский.

– Отдайте мне мои деньги, – шепелявил он, – я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.

– Обратитесь во Всемирную **Лигу Сексуальных Реформ**, – сказал Бендер. – Может быть, там **вам** помогут.

– Меня никто не любит, – продолжал Паниковский, содрогаясь.

– А за что вас любить? Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных. А вы скоро умрете. И никто не напишет **о** вас в газете:

«Еще один сгорел на работе». И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами. И заплаканные дети не будут спрашивать: «Папа, папа, слышишь ли ты нас?»

– Не говорите так! – закричал перепугавшийся Паниковский. – Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас **всех продаст** и купит. Отдайте мои деньги!

– Вы лучше скажите, будете служить или нет? Последний раз спрашиваю!

– Буду! – ответил Паниковский, утирая медленные стариковские слезы.

Ночь, ночь, ночь лежала над всей страной.

В Черноморском порту легко поворачивались краны, **спуская** стальные стропы в глубокие трюмы иностранцев, и снова поворачивались, чтобы осторожно, с кошачьей любовью опустить на пристань сосновые ящики с оборудованием для **Тракторстроя**. Розовый кометный огонь рвался из высоких труб силикатных заводов. Пылали звездные скопления Днепростроя, Магнитогорска и Сталинграда. На севере возшла Краснопутиловская звезда, **за** нею зажглось великое множество звезд первой величины. Были тут фабрики, комбинаты, электростанции, новостройки. Светилась вся пятилетка, затмевая блеском старое, примелькавшееся еще египтянам небо.

И молодой человек, **засидевшись** с любимой в рабочем клубе, торопливо зажигал электрифицированную карту пятилетки и шептал:

– Посмотри, вон красный огонек. Там будет Сибкомбайн. Мы поедем туда. Хочешь?

И любимая тихо смеялась, высвобождая руки.

Ночь, ночь, ночь, как уже было сказано, лежала над всей страной.

Стонал во сне **монотонно** Хворобьев, которому привиделась огромная профсоюзная книжка. В поезде, на верхней полке, храпел инженер Талмудовский, кативший из Харькова в Ростов, куда манил его лучший оклад **жалования**. Качались на широкой атлантической волне американские джентльмены, увозя на **«сухую»** родину рецепт прекрасного пшеничного самогона. Ворочался на своем диване Васисуалий Лоханкин, потирая рукой пострадавшие места. Старый ребусник Синицкий зря жег электричество, сочиняя для журнала «Водопроводное дело» загадочную картинку: «Где председатель этого общего собрания рабочих и служащих, собравшихся на выборы месткома насосной станции?» При этом он старался не шуметь, чтобы не разбудить Зосю. Полыхаев лежал в постели с Серной Михайловной. Прочие геркулесовцы спали тревожным сном в разных частях города. Александр Иванович Корейко не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно. Что делали Бендер, Балаганов и **Паниковский уже** известно. И только о Козлевиче, водителе и собственнике **Антилопы-Гну** ничего сейчас не будет сказано, хотя уже стряслась с ним беда чрезвычайно политичного свойства.

Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку с гербом города Киева и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. По дороге он задирает молочниц, ибо час этих оборотистых женщин уже наступил, в то время как час служащих еще не начинался, и мурлыкал слова романа: «И радость первого свиданья мне не волнует больше кровь». Великий комбинатор немного кривил душой. Первое **свиданье** с миллионером-конторщиком возбуждало его. Войдя в дом № 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь.

Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Он был в сетке-безрукавке и успел **уже** надеть **вдовьи** брюки мелкого служащего. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в дореволюционное время в сиротских приютах и тому подобных организациях, состоявших под покровительством императрицы Марии Федоровны. Здесь находились три предмета: железная лазаретная кровать, кухонный стол с дверцами, снабженными

деревянной щеколдой, какой обычно запираются дачные сортиры, и облезший венский стул. В углу лежали гантели и среди них две больших гири, утеха тяжелоатлета.

При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед.

– Гражданин Корейко? – спросил Остап, лучезарно улыбаясь.

– Я, – ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти.

– Александр Иванович? – осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее.

– Точно так, – подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно.

После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Прodelав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что: и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти.

Происшедшее нарастание улыбок и чувств напоминало рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано «играть быстро», на второй – «очень быстро», на третьей – «гораздо быстрее», на четвертой – «быстро как только возможно» и все-таки на пятой – «еще быстрее».

Увидев, что Корейко достиг пятой страницы и дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу:

– А ведь я к вам с поручением, – сказал он, становясь серьезным.

– Пожалуйста, пожалуйста, – заметил Александр Иванович, **также затуманиваясь**.

– Хотим вас обрадовать.

– Любопытно будет узнать.

И, безмерно грустя, Бендер полез в карман. Корейко следил за его действиями с совсем уже похоронным лицом. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал:

– Ровно десять тысяч. Потрудитесь написать расписку в получении.

– Вы ошиблись, товарищ, – сказал Корейко очень тихо, – **какие** десять тысяч? Какая расписка?

– Как какая! Ведь вас вчера ограбили!

– Меня никто не грабил.

– Да как же не ограбили! – **разволновался** Остап. – Вчера у моря. И забрали десять тысяч. Грабители арестованы. Пишите расписку.

– Да, ей-богу же, меня никто не грабил, – сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. – Тут явная ошибка.

Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки **Александра Ивановича** и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. Корейко пожимал плечами, предупредительно улыбался, но денег не брал.

– Значит, вас не **ограбили**?

– Никто меня не грабил.

– И десять тысяч у вас не брали?

– Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?

– Верно, верно, – сказал Остап, поостыв. – Откуда у мелкого служащего такая уйма денег! Значит, у вас все в порядке?

– Все, – ответил миллионер с чарующей улыбкой.

– И желудок в порядке? – спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее.

– В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек.

– И тяжелые **сны** не мучат?

– Нет, не мучат.

Дальше по части улыбок все пошло совсем как у Листа: быстро, очень быстро, гораздо быстрее, быстро как только возможно и даже еще быстрее. Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.

– Фуражечку милицейскую не забудьте, – говорил Александр Иванович, – **она** на столе осталась.

– Не ешьте на ночь сырых **помидор**, – советовал Остап, – чтоб не причинить вреда желудку.

– Всего хорошего, – говорил Корейко, радостно **откланиваясь**.

– До свидания, до свидания, – отвечивал Остап, – интересный вы человек. Все у вас в порядке. С таким счастьем – и на свободе!

И, все еще неся на лице ненужную улыбку, великий комбинатор выскочил на улицу. Несколько кварталов он прошел скорым шагом, позабыв о том, что на голове его сидит официальная фуражка с гербом города Киева, совершенно неуместным в городе Черноморске. И только очутившись в толпе почтенных стариков, гомонивших напротив крытой веранды нарпитовской столовой № 68, он опомнился и принялся спокойно взвешивать шансы.

Пока он предавался своим размышлениям, рассеянно прогуливаясь взад и вперед, старики продолжали заниматься ежедневным своим делом.

Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах **«канотье»**. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей панамской соломы. И, уж конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи. Здесь, у столовой № 68, где раньше помещалось прославленное кафе «Флорида», собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска: маклера, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера. Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянула сюда, на солнечный угол, долготелная привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую «Правду». **Местную** прессу они не уважали. **И** все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Когда-то, лет сто тому назад, Черноморск был действительно вольным городом, и это было так весело и доходно, что легенда о **«Порто-Франко»** до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый **угол кафе «Флорида»**.

– Читали про конференцию по разоружению? – обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. – Выступление графа Бернсторфа?

– **О-о, Бернсторф это голова!** – отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долготелного знакомства с графом. – А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингеме, этой цитадели консерваторов?

– Ну, о чем говорить! Сноуден – это голова. Слушайте, Валиадис, – обращался он к третьему старику в панаме. – Что вы скажете насчет Сноудена?

– Я скажу вам откровенно, – отвечала панамы, – Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.

И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:

– Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно – Чемберлен все-таки тоже голова.

Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен **все-таки** тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.

– Бриан! – говорили они с жаром. – Вот это голова! Он со своим проектом **Пан-Европы**...

– Скажу вам откровенно, мосье Фунт, – шептал Валиадис, – все в порядке. Бенеш уже согласился на **Пан-Европу**, но знаете, при каком условии?

Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.

– При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш – это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы **их** и будем покупать.

При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать.

– Бриан – это голова, – сказали **все**, вздыхая. – **И Бенеш тоже** голова.

Когда Остап очнулся от своих дум, он увидел, что его крепко держит за борт пиджака незнакомый старик в раздавленной соломенной шляпе с засаленной черной лентой. **Привязной галстук** его съехал в сторону, и прямо на Остапа смотрела медная запонка.

– А я вам говорю, – кричал старик в ухо великому комбинатору, – что Макдональд на эту удочку не пойдет! Он не пойдет на эту удочку. Слышите?

Остап отодвинул рукой раскипятившегося старика и выбрался из толпы.

– Муссолини, хотя и хулиган, но голова! – слышал Остап за своей спиной. – Гувер – это голова!..

К этому времени Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное **гуляние** в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок, – ни один из них не подходил к данной ситуации. И Остап придумал четыреста первый способ.

«Взять крепость неожиданной атакой не удалось, – думал он, – придется начать правильную осаду. Самое главное установлено. Деньги у подзащитного есть. И, судя по тому, что он не моргнув отказался от десяти тысяч, **деньги** огромные. Итак, ввиду недоговоренности сторон, заседание продолжается».

Он вернулся домой, купив по дороге твердую желтую папку с ботиночными тесемками.

– Ну? – спросили в один голос истомленные желанием Балаганов и Паниковский.

Остап молча прошел к бамбуковому столику, положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись:

«Дело Александра Ивановича Корейко. Начато 25 июня 1930 года. Окончено го дня 193... г.».

– Что там внутри? – спросил любопытный Паниковский.

– О! – сказал Остап. – Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, **жена-графиня**, собственный **биллиард**, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги.

И он раскрыл **папку** перед изумленными антилоповцами.

Она была пуста.

Глава пятнадцатая. Рога и копыта

Жил на свете частник бедный. Это был довольно богатый человек, владелец галантерейного магазина, расположенного наискось от кино «Капиталий». Он безмятежно торговал бельем, кружевными прошвами, галстуками, **подвязками** и другим мелким, но прибыльным товаром. Однажды вечером он вернулся домой с искаженным лицом. Молча он полез в буфет, достал оттуда цельную холодную курицу и, расхаживая по комнате, съел ее всю. Сделав это, он снова открыл буфет, вынул цельное кольцо краковской колбасы весом ровно в полкило, сел на стул и, остекленело глядя в одну точку, медленно сжевал все полкило. Когда он потянулся за крутыми яйцами, лежавшими на столе, жена испуганно спросила:

– Что случилось, Боря?

– Несчастье, – ответил он, запихивая в рот **третье** резиновое яйцо. – Меня ужасно **обложили**. Ты даже себе не можешь представить!

– Почему же ты так много ешь?

– Мне надо развлечься, – отвечал частник, – **мне** страшно.

И всю ночь частник ходил по своим комнатам, где одних шифоньеров было восемь штук, и ел. Он съел все, что было в доме. Ему было страшно.

На другой день он сдал полмагазина под торговлю писчебумажными принадлежностями. Теперь в **одном окне магазина** помещались галстуки и подтяжки, а в **другом** висел на двух веревочках огромный желтый карандаш.

Потом настали времена еще более лихие. В магазине появился третий совладелец. Это был часовых дел мастер, **потеснивший** карандаш в сторону и занявший половину окна бронзовыми часами с фигурой Психеи, но без минутной стрелки. И напротив бедного галантерейщика, который не переставал уже иронически улыбаться, сидел, кроме постылого карандашника, еще и часовщик с воткнутой в глаз черной лупой.

Еще дважды посетило галантерейщика горе-**злосчастье**. В магазин дополнительно въехали водопроводный мастер, который тотчас же зажег какой-то паяльный примус, и совсем уже странный купец, решивший, что именно в 1930 году от рождества Христова население Черноморска набросится на его товар – крахмальные воротнички.

И когда-то гордая, спокойная вывеска галантерейщика приобрела мерзкий вид:

Торговля галантерейными товарами ГАЛАНТПРОМ Б. Культуртригер	Починка разных ЧАСОВ <u>Павел Буре</u> Глазиус-Шенкер	КАНЦБУМ Все для художника и совслужащего Лев Соколовский	Ремонт труб, раковин и унитазов М. Н. Титанюк	Специальность крахмальных воротничков из Ленинграда Карл Укусинен
---	---	--	---	---

Покупатели и заказчики со страхом входили в некогда благоухавший магазин. Часовой мастер Глазиус-Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами, сидел под часами, в числе коих были одни башенные. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения толпились школьники, осведомлявшиеся насчет дефицитных тетрадей. Карл **Укусинен** стриг свои воротнички ножницами, коротая время в ожидании заказчиков. И не успевал обходительный Б. Культуртригер спросить покупательницу: «Что вы хотели?», как водопроводчик **Титанюк** с грохотом ударял молотком по ржавой трубе, и сажа от паяльной лампы садилась на нежный галантерейный товар.

В конце концов странный комбинат частников развалился, и Карл **Укусинен** уехал на извозчике во мглу, увозя свой **несозвучный** эпохе товар. За ним **канули ГАЛАНТПРОМ и КАНЦБУМ**, за которыми гнались конные фининспектора. **Титанюк** спился. Глазиус-Шенкер ушел в часовой коллектив «**Новое Время**». Гофрированные железные шторы со стуком упали. Исчезла и занятная вывеска.

Вскоре, однако, шторы снова поднялись, и над бывшим ковчегом **частника** появилась небольшая опрятная таблица:

**Черноморское отделение Арбатовской
конторы по заготовке рогов и копыт**

Праздный черноморец, заглянув в магазин, мог бы заметить, что прилавки и полки исчезли, пол был чисто вымыт, стояли яичные конторские столы, а на стенах висели обыкновенные учрежденские плакаты насчет часов приема и вредности рукопожатий. Новоявленное **учреждение** уже пересекал барьер, выставленный против посетителей, которых, однако, еще не было. У маленького столика, на котором желтый самовар пускал пары и тоненько жаловался на свою самоварную судьбу, сидел курьер с золотым зубом. Перетирая чайные кружки, он раздраженно напевал: «Что за времена теперь настали, что за времена теперь настали. В бога верить перестали, в бога верить перестали». За барьером бродил рыжий молодец. Он изредка подходил к пишущей машинке, **ударяя** толстым негнушимся пальцем по клавише, и заливался смехом. В самой глубине конторы, под табличкой «начальник отделения», сидел великий комбинатор, озаренный светом штепсельной лампы.

Гостиница «Карлсбад» была давно покинута. Все антилоповцы, за исключением Козлевича, поселились в «Вороньей слободке» у Васисуалия Лоханкина, чрезвычайно этим скандализованного. Он даже пытался протестовать, указывая на то, что сдавал комнату не трем, а одному – **одинокому** холостяку. «Мон дье, Васисуалий Андреевич, – отвечал Остап беззаботно, – не мучьте себя. Ведь интеллигентный-то из всех трех я один, так что условие соблюдено!» На дальнейшие сетования хозяина Бендер рассудительно молвил: «Майн **Готт**, дорогой Васисуалий! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!» И Лоханкин сразу успокоился, выпросив у Остапа двадцать рублей. Паниковский и Балаганов отлично ужились в «Вороньей слободке», и их голоса уверенно звучали в общем квартирном хоре. Паниковского успели даже обвинить в том, что он по ночам отливает керосин из чужих примусов. Митрич не преминул сделать Остапу какое-то **ворчливое** замечание, на что великий комбинатор молча толкнул его в грудь.

Контора по заготовке рогов и копыт была открыта по многим причинам.

– Следствие по делу Корейко, – говорил Остап, – может поглотить много времени. Сколько – знает один бог. А так как бога нет, то никто не знает. Ужасное положение! Может быть, год, а может быть, и месяц. Во всяком случае, нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это **дает** контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготавливать что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. Или рога и копыта. Прекрасно! Рога и копыта для нужд гребеночной и мундштучной промышленности! Чем не учреждение? К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая мастичная печать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.